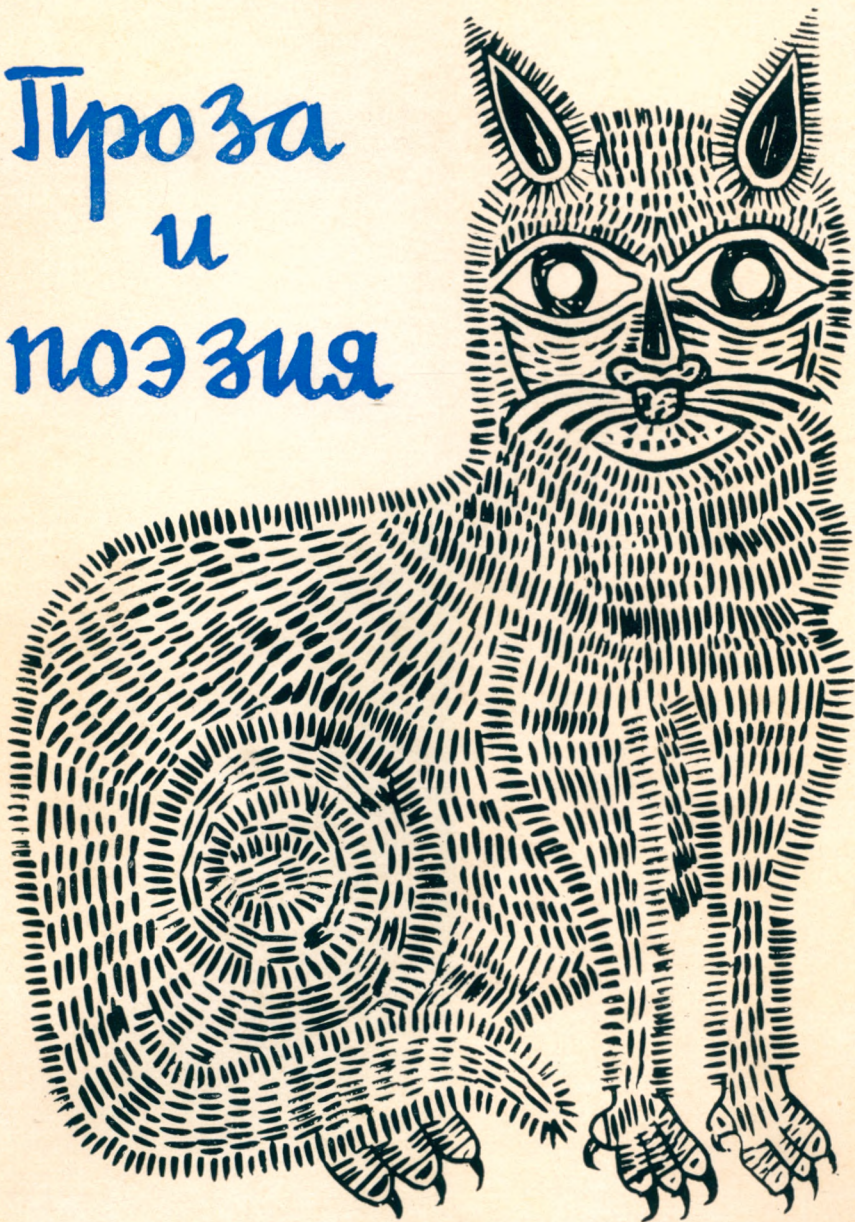


Булат Окуджава . Проза и поэзия

Булат Окуджава

Проза
и
поэзия



Булат Окунджава . Проза и стихи

Булат Окунджава



Булат Окуджава

БУЛАТ ОКУДЖАВА

ПРОЗА
И
ПОЭЗИЯ

Третье
дополненное и исправленное
издание

ПОСЕВ
1968

Вступительная статья Н. Тарасовой

Портрет работы Я. Трушновича

БУЛАТ ОКУДЖАВА — СОВРЕМЕННЫЙ БОЯН

Булат Окуджава — один из своеобразнейших поэтов послевоенного поколения.

Творчество его складывается из трех элементов: поэтического, музыкального и вокального. Чтобы во всей полноте ощутить его талант, мало Окуджаву только читать, его надо услышать. Он полупоет, полудекламирует свои стихи под аккомпанемент гитары, вполголоса, задумчиво, будто напевает для самого себя, забыв о присутствии одного-двух ближайших друзей. Просты слова, просты мелодии, скромн голос.

Вот как вспоминает об Окуджаве и его искусстве в 1957 году Евгений Евтушенко в «Автобиографии»:

«Поэт Булат Окуджава редактировал в издательстве скучные рукописи. По вечерам за стопкой водки он пел под гитару двум-трем своим друзьям свои неповторимые песенные стихи, не подозревая, что через несколько лет их будут переписывать на множество магнитофонных пленок».

В настоящее время Булат Окуджава обладает все-российской славой. Его песни-стихи любимы, их напевают во всех уголках страны и в часы работы, и на досуге, выражая ими свое душевное настроение. Они стали составной частью своей эпохи. На открытые музыкальные выступления Окуджавы почти невозможно достать билетов, редкая вечеринка молодежи обходится без магнитофонных записей его песен.

Успех Окуджавы поражает и оскорбляет партийных догматиков. Вряд ли могут они признаться, что секрет его таится не только в поэтическом и музыкальном таланте Окуджавы, но и в удивительной способности поэта выражать в своем личном творчестве общероссийские настроения, стремления и чаяния.

Булат Окуджава — поэт-певец, современный баян, ведущий свою родословную от седых времен «Слова о полку Игореве».

Художественные средства, которыми он часто пользуется, подтверждают эту мысль: близость к народной песне, иносказание, символика, метафоры, родство со сказом, с устной поэтикой. Стоит внимательно прочитать хотя бы такие его стихотворения, как «Один солдат на свете жил...», «Ночной разговор», «Черный кот», «Песенку о дураках», чтобы убедиться в том, что Окуджава ведет неустанный таинственный разговор со своими многочисленными читателями-слушателями. И разговор этот оказывается вне досягаемости партийной цензуры, потому что, без риска поставить себя в смешное положение, она не может предъявить поэту прямых обвинений. Безусловно и этим объясняются бесконечные, плохо маскирующие свою ненависть горделивым презрением, отклики прессы на музыкальные вечера Окуджавы, обвиняющие его в мелкотемье и в мещанских вкусах.

Что же мы знаем о самом Булате Окуджаве?

В сборнике «Острова», под рубрикой «Об авторе», читаем:

«Булат Шалвович Окуджава родился в 1924 году в Москве. В 1942 году добровольно ушел в действующую армию. Принимал участие в боях, был ранен.

В 1950 году окончил Тбилисский государственный университет. Работал учителем в одной из сельских школ Калужской области, сейчас живет и работает в Москве.

Первый сборник стихов Булата Окуджавы — «Лирика» — вышел в 1956 году. Стихи поэта публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Нева», «Молодая гвардия» и в газетах.

«Острова» — вторая книга Булата Окуджавы» (Москва, 1959 г.).

С тех пор Окуджава неоднократно печатался в

журнале «Юность», «Молодая гвардия» и в «Литературной газете». В 1964 г. вышел сборник его стихов — «Веселый барабанщик», в 1967 г. — «Март великодушный». Стихи этих сборников, как и «Острова», и стихотворения, нигде до сих пор не публиковавшиеся и присланные нам из России любителями и поклонниками творчества Окуджавы, и составляют вторую — поэтическую — часть предлагаемой книги.

Первая — прозаическая — часть представлена повестью «Будь здоров, школяр» и рассказом «Промоксис». Повесть была напечатана в альманахе «Тарусские страницы» (1961 г.) и очень быстро после своего выхода изъята из продажи. Поэтому она в большинстве своем неизвестна не только русскому читателю за границей, но и в самой России, что и послужило основанием для ее опубликования в нашем сборнике.

Повесть «Будь здоров, школяр» целиком посвящена теме Второй мировой войны и, по-видимому, во многом автобиографична. Главный герой ее, как и сам Окуджава, будучи еще учеником десятилетки, школяром, добровольно уходит на фронт. Возвращается раненым. Образ Школяра разрушает установленные соцреализмом каноны, по которым создавалась почти вся так называемая военная литература. Вся повесть, как и ее главный герой, отрицает ложный советский патриотизм, фальшивый его пафос.

Школяр — неопытный мальчик, горестно мечтающий о теплом доме и ласках мамы на страшной передовой. Его героизм заключается в том, что на своих хрупких, еще совсем детских плечах он несет непосильную тяжесть фронтовых будней, стараясь не жаловаться хотя бы вслух, не дезертируя, наравне со взрослыми опытными бойцами подвергаясь всем лишениям войны и каждодневной смертельной опасности. Именно в глубочайшей искренности его переживаний и отношения к окружающему, в мужественном преодолении есте-

ственного страха перед смертью и сказывается настоящий героизм молодого существа.

Повесть эта — не только правдивая картина дней Второй мировой войны, но и достойный памятник павшим на полях сражений российским детям, преступно спровоцированным советской властью идти добровольцами на фронт, в то время как тысячи здоровых и взрослых мужчин, прикрываясь «броней», отлично отсиживались в своих эвакуированных за Урал партийных и иных учреждениях.

Вся боль недоумения перед этим трагическим явлением войны, о котором ни один советский писатель еще не отважился произнести ни слова, выражена Окуджавой в нескольких кратких предложениях, при встрече Школяра на передовой с девочкой-старшиной:

«Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало... Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются... Девочка — старшина... Что случилось?».

Достаточно внимательно прочесть, каким образом отправился Школяр на фронт — комсомольское собрание, ажиотаж ребят, клятвы всего класса погибнуть за родину, после чего действительно на фронт отправилось всего лишь двое — Школяр и еще один — разговоры Школяра с соседом, который призывал тоже его погибнуть за родину, а потом принес в военкомат «освобождение», — чтобы отлично понять, кому писатель адресует первые строки своей повести:

«Это не приключение. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть, и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем ведь не угодишь».

Партийная критика встретила повесть в штыки. Окуджава неоднократно обвинялся в забвении совет-

ского патриотизма, долга перед родиной, в отрицании советского героизма.

Заканчивая разговор о повести «Будь здоров, школяр», следует отметить большие художественные достоинства ее: скупость средств изображения, точность деталей, живые диалоги, краткий лаконичный язык, живые полноценные образы героев. Подкупает исключительно искренняя манера повествования, глубокая человечность и внутренняя свобода самого автора. «Будь здоров, школяр» — один из достойных примеров рождающейся ныне модернистической русской прозы.

Поэтическое творчество Булата Окуджавы имеет как бы два разных корня происхождения: собственно поэтический и песенно-поэтический. Некоторые стихотворения, вероятно, рождались непосредственно из музыкальной стихии. Это различие заметно и при обычном чтении: например, такие стихотворения как «По Смоленской дороге леса, леса, леса», «Сентиментальный марш» и многие другие, сами поются на какие-то содержащиеся в них мотивы, отнюдь не всегда совпадающие с теми, на которые поет их Окуджава. Другие, рожденные из стихии чисто поэтической, звучат исключительно как стихи («Мой карандашный портрет», «Сверчки» и др.).

С годами стихи становятся все более отточенными по форме, многограннее по содержанию, поэтическая стихия высказывает себя причудливей и капризней. У Окуджавы появляется все более стихов с таинственным содержанием («Я строил замок Надежды...», «Март», «Стихи про маляров», «Ночной разговор»), зачаровывающих читателя новым поэтическим миром, с иными измерениями, взаимоотношениями предметов и существ.

Стихи-песни, напротив, отличаются большой простотой формы, удивительной доходчивостью, быстро и легко западают в память и долго живут там самостоятельной жизнью. Что касается их содержания, то в нем

проявляется большой и тонкий ум поэта: он обладает поразительным мастерством в два-три слова, в две-три строки вместить глубокую мысль, большую идею.

Тематика его поэтического творчества разнообразна, но доминирующее место (на протяжении многих лет) занимала Вторая мировая война.

Но «военные» стихи первых лет, по сравнению с позднейшими стихами на эту тему и повестью, отличаются еще юношеской романтичностью, углубленностью в самого себя. Со временем душевный и поэтический горизонт автора расширяется, «военные» стихи начинают обретать более трагические черты, в них все ярче проступают пятна незаживающих общероссийских ран этой эпохи. Авторское «я» уходит на второй план. На передний выступает горе солдат-мужчин, не имеющих сил во время побывки в семье замечать, что в их доме «пахнет воровством» («О войне»), трагедия девочек военного поколения, которых война калечила на особый, быть может, еще более страшный, чем фронтовые ранения, лад («Ах, война, что ж ты сделала, подлая!»), гибель таких прекрасных людей, как Ленька Королев («Ленька Королев»).

Одновременно с трагическим в стихи о войне входит элемент сатирический («Один солдат на свете жил...», «В поход на чужую страну собирался король...», «Военный парад»). Горячий идеализм, служение родине, а потому и незащищенность, и обреченность на гибель одних и холодный цинизм, недоверие к человеку, приспособленчество других находим в этих стихах-песнях, как правило, не публикуемых в официальной советской печати, но охотно переписываемых слушателями от руки.

Ведь грустным солдатам нет смысла в живых
оставаться,
И пряников, кстати, никак не хватило б на всех...

Но Окуджава не ограничивается констатацией несправедливостей, военных и послевоенных, творившихся по отношению к народу. Острым и метким ударом поражает он и своего брата-солдата, потерявшего чувство ответственности, совести. Простая, короткая песенка, исполняемая им на легкий, подчеркнуто беспечный мотив, «Возьму шинель и вещмешок и каску...» содержит в себе и обвинение в безответственности, в бессовестности, и желании идти в жизни путем наименьшего сопротивления. Из-за самых обыкновенных слов встают вдруг трагический образ Венгерской революции, подавленной советскими танками, забастовка в Новочеркасске, и мысли невольно обращаются к будущему: а что если?.. А в ушах звучит легкомысленный, с чуть заметной наглостью мотивчик:

А если что не так — не наше дело.
Как говорится, — «Родина велела!»
Как славно быть ни в чем не виноватым,
совсем простым солдатом, солдатом!

Недаром, по пришедшим из России сведениям, Булату Окуджаве было недвусмысленно предложено на его музыкальных выступлениях именовать это стихотворение «Песенкой а м е р и к а н с к о г о солдата»...

Принимая это стихотворение как «доказательство от обратного», мы можем перейти к одному из основных положительных утверждений Окуджавы, которым часто насыщаются его стихи и песни. Это — призыв к человеческой солидарности, основанной исключительно на таких ценностях, как дружба, товарищество, любовь.

Окуджава убежден, что только в ней спасение людей, только в ней свет, радость и настоящая жизнь. Так же, как и в стихотворении «Возьму шинель и вещмешок и каску...», в знаменитой песенке «Черный кот» Окуджава с насмешливой меланхолией констатирует грустный факт:

Оттого-то, знать, невесел
дом, в котором мы живем.
Надо б лампочку повесить,
денег все не соберем.

Трудно вместе собраться, чтобы повесить лампочку и спастись от Черного Кота, который своим поведением очень напоминает... советскую власть. Трудно вместе собраться, чтобы устроить по-иному и «шарик голубой, грустную планету», не только что свою Россию. К солидарности призывает поэт и в своем стихотворении «Берегите нас, поэтов, берегите нас...». К тому же единению приглашает он и в стихотворении «Старый дом».

Художественное воплощение взаимной помощи и дружбы даются поэтом в стихотворениях «Ночной троллейбус», «Ленька Королев», «Много ли нужно человеку...».

Секрет редкого в наш век духовного здоровья Булата Окуджавы, его силы — в неустанном служении людям, в проникновенной любви и уважении к человеку, выносящему невероятные трудности жизни:

И опять ты шагнул через пыль, через боль,
через смерть...

Ты красив, человек!

Это надо ж такое суметь!

«Три судьи, три жены, три сестры милосердных» — Вера, Надежда, Любовь, поистине открыли «бессрочный кредит» Булату Окуджаве. Он любит землю, любит природу («Куда вы подевали моего щегла?»), он любит и ценит первичные человеческие радости («Каравай»), он полон восхищенной любви к женщине («Ах, эта женщина — увижу и немею...»). Он любит Москву, («Ах, Арбат мой, Арбат — ты мое отечество...»), его

сердце отдано родине Кавказу. Булат Окуджава — россиянин в самом высоком смысле этого слова.

Но неизменным условием жизни человеческой, и в первую очередь своей собственной, он ставит чистоту совести.

О, руки были бы чисты!
А остальное все приложится.

Таков Булат Окуджава — «Веселый барабанщик» нынешней России, несущий в себе именно те человеческие ценности, без которых задыхается страна и народ.

Н. Тарасова

Будь здоров, школяр

Повість

Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть, и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем ведь не угодишь.

СЕНО-СОЛОМА

В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. В юности — дважды. Первый раз это было перед самой весной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с деланным равнодушием:

— Ну что ж, раз так, значит, конец...

— Ну что ж, значит, конец, — неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал: ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас, здесь, в Моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стене. Впрочем, какие здесь стены. Выведут меня в поле..

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» Так будет начинаться извещение... Ну, почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко — такой сильный, ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина. Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания...» Так будет начинаться извещение...

— Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу, там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду.

— Стой! — кричат за спиной.

Останавливаюсь.

— Давай сюда...

— Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

— Куда шел? — зло спрашивают.

Я объясняю.

— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров...

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается.

Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно

быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

— Идите на батарею, — зло говорит командир полка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

— Вы давно в армии? — спрашивает полковник.

— Месяц.

— В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»... и потом это... носки вместе, пятки врозь...

— Сено-солома, — говорит кто-то из темного угла.

— Я знаю, — говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. Еле-еле. Никогда не спорит, а слегка улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: «Так точно». А мне слышится: «Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, с другого бока — противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность — признак

трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Давай стыкнемся! — и мне стало страшно. Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.

— Ах так!? — крикнул я и толкнул его в плечо.

Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть.

И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

— Послушай, ну я дам тебе в рыло..

— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.

— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

— Все, — сказал лейтенант Бураков, — прибыли.

— Что это? — спросили его.

— Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

— А где немцы? — спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.

НИНА

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался.

Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я не брит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвета я не запомнил. Я кивнул ей.

— Как жизнь? — спросила она.

— Идет, — сказал я мрачно.

— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?

Я достал папиросы.

— Ого, — сказала она, — папиросы.

— Тебе что, делать нечего? — спросил я.

— Давай покурим, — сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.

Мы курили и молчали. Потом она сказала:

— А ты совсем еще малявка, да?

— Что это значит?

— Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Гринченко.

— Да. А ты ее знаешь?

— Я всех знаю, — сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса.

Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки...

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расплзаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка...». Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спрашиваю я.

— Совещаются, — говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

— Старшина — гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает. — И смотрит на нас с Сашкой.

— Не шуми, — говорит Сашка.

— Это ему не тыл, — не унимается Коля, — здесь ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не узнают.

— Пойди скажи ему об этом, — говорит Сашка.

А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

— Понятно, — говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчат. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуней.

— Глазунья хороша с луком, — говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а по-

том у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

— Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

— Дай редисочки, Шонгин, — просит Сашка.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка...

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка... ах, какая у нее ушанка!.. она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

— Ааа!

Это Шонгин кричит.

— Ааа! — и падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

— Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина.

— Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

ВОЙНА

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться себе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рывкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит губы в усмешке.

— Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то там переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку.

— Ты что это раскурился?

— А что?

— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — говорит он и оглядывается.

Я гащу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил... твою мать! — кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе... А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:

— Попадалься!.. Эвоз!.. Попадалься!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю

ящички с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящички. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумываю... По нам ни разу не выстрелили. Это мы сами шумим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.

— Товарищ лейтенант...

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Делайте со мной, что хотите...

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво спрашивает он. — Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой.

— Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка. Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

— Смотри, не засни. Замерзнешь, — говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадалься! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюда-

тельный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза, а какое оно, наступление? Я подыщу им. А «НП» — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

— Жить надоело!? — шипит комбат. — Ты что здесь околачиваешься?

— Посмотреть хотел, — говорю я.

Наблюдатели смеются.

— Птицы откуда-то, — говорю я.

— Птицы? — переспрашивает комбат.

— Птицы...

— Какие птицы? — спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

— Птицы, — говорю я, и уже сам ничего не понимаю.

— Разве это птицы? — устало смотрит на меня комбат.

— Птицы... — смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает палку над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топтать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверно, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

— Пошли наши, — говорит комбат Бураков, — сейчас начнем. — И потом говорит мне: — Ну-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.

— Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

— Хватит, — говорит комбат, — иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, «виллис». А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А «виллис» приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату.

— По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

«Чудеса!», думаю я.

— Отбой! — кричит в телефон Кузин.

На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина.

Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Яжимаю плечами.

— Это от минных ящиков, — говорит Шонгин.

Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверно, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо...

— Иди, вымой руки, — говорит, обернувшись, старшина, — сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК — ДАР ВАЛДАЯ...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «...И колокольчик — дар Валдая...». А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат.

Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах, да, конечно же, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не отпустили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не было. Только старуха-соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Жалко, — лицемерно сказала она, — не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня. Разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела «рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Лезь скорей! — кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не могу дрожать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья... Я имею на это право. Я — не Федька Любимов. Помнишь Федьку Любимова? Ну, конечно, помню. Федор Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

— Немцы-паскуды прут... Надо всем вставать на

защиту. Вот у меня рука подживет — пойду добровольцем.

— Тебя и так призовут, Феденька, — говорили ему.

— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти.

И спрашивал меня:

— А ты родину-то любишь?

— Люблю, — говорил я. Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал он, — вот я освобождение принес.

— Какое освобождение?

— Бронь. Как специалист бронь получил. Не хотят меня на производстве отпустить...

— Ну зайдите вот туда и оформляйте. Бронь так бронь, — сказал капитан.

Бронь так бронь. Вот так Федька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал. И пошел Федька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел. Остановился. Покраснел.

— Видал? — спросил меня. — Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по броне живет. Как будто он известный конструктор или великий артист...

...Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки не плохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, бронь получал? — спрашиваю я.

— Кто ж мне ее даст? — говорит Сашка, — ее не всем дают.

— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была бы тебе бронь.

— Наверно, много давать? — спрашивает Сашка.

— Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы.

— Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.

— Ну вот и дал бы.

— Ааа.. — машет Сашка рукой. — Иди-ка ты...

— А ты-то что не дал? — сердится Шонгин.

— А у меня денег не было, — смеется Коля.

— Болтать ты горазд... — говорит Шонгин.

ЛАФА

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок — путевых окопчиков нет. Неприятно возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

— Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь проживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

— Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтальная норма?

— А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился? — спрашивает старшина.

— А ты докажи, — улыбается Гринченко.

— Ну вот и помалкивай, — говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с «НП». Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с порога, — принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля. — Откуда ты такой взялся?

— Что нада? — спрашивает казак.

— Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? И Коля говорит нам: — Давай, ребята, располагайся. Эх, ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.

— Ты что, гад... — лицо у Коли покрывается красными пятнами.

- Иди, иди, — спокойно говорит калмык.
— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!
Сашка берет Колю за локоть.
— Не психуй, Мыкола.
— Уводи свой люди, — говорит калмык.
— Не сердись, пожалуйста, — говорю я.
— Уходи давай...

Вдруг открывается дверь, и входят казаки. Их трое.

- Что за беда? — спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашей молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

— Что ж молчишь, калмык? — и потом говорит казакам: — Вот гад... сам к печке, а русского — на мороз!

— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.

— Давайте-ка, ребята, съешьте отсюда, — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

- Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Болите, мои руки!..

Что сделать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякого навертеть-навертеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер — со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется.

Я думаю о Нине. И мне кажется, что она где-то на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то успела задеть, и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Темно. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

— Дай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно.

— Да он спит, — говорит Коля Гринченко.

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить его, что ли?

— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в противогазной сумке лежит, — говорю я.

— Я вам возьму, — говорит Шонгин, — я сам насыплю.

— Ну вот, человека разбудили, — говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели.

Сашка Золотарев смеется.

— А я толстых люблю, — говорит он, — и чтобы выше меня.

— У Нинки муж есть, — говорю я.

Сашка смеется.

— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей оладьи ест.

— Война, — говорит Коля, — все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...

Сашка смеется.

— Паскуды вы ребята! — говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

— А я на гражданке с такой и не пошел бы, — говорят из темноты.

А я пошел бы.

— У меня такая девочка была. Катя ее звали, вот была красивая. Коса до пояса. Нинка — это так...

— А тебе ее не навязывают, — раздраженно говорит Коля.

— Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно, Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — смеется Сашка, — ты ведь таких любишь. Чтобы нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло...

— Досмеешься, Золотарев, — угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.

Жив и я. Привет тебе, привет.

Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень.

— Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она догонит меня. «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду я по коридору. А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит, — говорит Сашка.

— Я ее на гражданке сроду не ел, — говорит кто-то.

Коля советует:

— А ты, Сашка, пойдй, сходи.

— Дурак, — говорит Сашка, — тыква вещь хорошая, только когда не сырая.

— А я борщ люблю, — говорят из темноты, — густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо.

А у меня нету ложки. Я, как без рук, без ложки. Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я смеюсь... А ложки-то нет у меня... И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает. И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротником, а через плечо — аппарат «Лейка». И никакой войны.

— А я еще съел бы сметаны, — говорят из темноты.

НИНА

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нину ни смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней просто: «Нина, дай кружку...», «Что, милая, устала?». «Давай покурим...». «Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!..» — и обнимают ее. А она — подает кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки.

Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они — штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит веселая пузатая трехлинейка. Пахнет хлебом. И ничего. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

— Дон, Дон, я — Москва... Прием. Дон, Дон, я — Москва, как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.

Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно.

— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием...
— Она снимает наушники.

— Садись, вояка. Отдыхай.

— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смотрю на нее. Она смеется.

— Ну, чего уставился?

— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет.

Она снова смеется.

— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.

— Ты приходи к нам.

— Куда это?

— На батарею.

— Чайку попьем?

— Посидим, покурим...

— Посидим, покурим, — смеется она.

Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?

— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.

— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту привык.

— Привык — не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться.

Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется.

— Чудак ты. У нас разведчики — такие ребята, а от чая не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к вам на батарею. Ладно? Посидим, покурим... а?

— Да?

— Да... А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой... Бред.

— И все-то ты врешь насчет спирта.

Это она говорит издали. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых. Серых. Насмешливых.

Входят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят разные слова. А я слышу:

— Дон, Дон... у тебя глаза хорошие... перехожу на прием, прием.

— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.

— Так точно.

— На-ка вот.

Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине.

— Так ты придешь?

— Куда?.. А, на батарею? Посидим — покурим? Да?

— Приходи.

— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да?

— Что, Ниночка, красивых солдатиков завлечешь? — слышу я за спиной.

— ... Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не в радость. Ну не радуется она меня.

Маленький худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками.

— Отпускай меня домой четыре дня. Кварели — мой дом. Принесу разный пурмарили, еда. Вино, хачапури, лобно. Этот каша уже нэлзя.

Лейтенант смеется.

— А кто воевать будет?

— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет? Я буду. Пока здэсь война нэту.

— А как же ты добираться будешь?

— Что?

— Как поедешь?

Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

— Давай отпуск. Сдэляем.

Комбат смотрит на нас.

— Ну, как, отпустим?

— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит Шонгин, — отпустить бы можно, а вдруг начнется? Как же без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя.

— Зачем не можем? — волнуется Гургенидзе, — можем. Четыре дня война нету.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда начнут. Может, и можно поехать, — предлагает Сашка Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Эээ! — и сам смеется.

И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.

И комбат говорит, посерьезнев:

— Отдыхайте. Все. Вечером будем работать.

И уходит.

Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил: «Приходите погуляем». Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въелась в кожу копать... Я скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну, давай просто: ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои будут не видны.

— Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Гринченко.

Ну что мне сказать?

— А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.

— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я. — Как же ты врешь!

— Поглядишь, — говорит он. — Лови момент.

Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а я...

Вот над немецкими траншеями взвивается ракета белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.

— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

— Она ведь замужем, — говорю я, — ничего у тебя не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. И молчит. Раз молчит — значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разговоры... кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать...

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка-то! Невозможно устоять... А я вот в гости к вам. На минуточку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете! Смотри, пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет — такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.

— Ну такой, черноглазенький.

Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе черноглазый. И комбат — черноглазый...

Темный, тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа.словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается.

— Вот ты где, воин... Посидим, покурим, а?

Она подходит, подходит, подходит...

— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне у

меня свидание. Ты что же молчишь? А-а-а, ты, наверно, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.

— Ну, расскажи что-нибудь...

— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.

— О, какой ты! Сразу — в уголок.

— При чем тут это?

— При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет?

— Ты мне нравишься, Нина.

— Я знаю.

— Знаешь? Задаешься просто.

— Что ты, что ты, мальчик. Мне Коля Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь.

— Брет он все!

Из-за блиндажа закричали:

— Нина! Шубникова! К машине!

— Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, что ты, что делать будем, — говорит она и ладонью проводит по щеке моей. — Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.

— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь никого, кроме меня-то нет.

Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

ЭХ, МАХОРОЧКА-МАХОРКА...

Так из затишья возникает гром, так в сером утре появляются неожиданные краски: красное — на сером, рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое искаженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями, как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверно, в микрофон: «Волга, Волга»

га, я — Дон... Как слышно? Прием...». А у меня в руках толстенная мирная такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы.

Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И ладони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, для себя.

Эх, махорочка-махорка...

— Немцы прорвались, слышал? — спрашивает Сашка.

— Пехота?

— Нет, танки.

— Сюда идут?

— По тылу ходят...

— Много?

— Штук сорок, говорят.

Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем.

— Будет медикам работенка, — говорит Сашка.

А Коля напевает:

Эх, махорочка-махорка...

И тогда справа на сопочке разрывается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют наши минометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще.

— Нащупали! — кричит кто-то.

Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни

над чем. Каждое движение привычно до черта. Десять шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового поросенка — в ладони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое...

Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят — все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают...

В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. Я падаю.

— А-а-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже слабее — а-а-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава Богу! Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот если бы прямое попадание... Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, останавливается и стоит нагнувшись.

Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей-скорей... Сейчас разнесут нас немцы, если будем копать. И уже минометы прицеплены к «ЗИСам». И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что ждет нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая

к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого, — говорит Сашка.

— Нету, — говорю я.

— И ребят нету, — говорит Сашка.

— Помолчи... — Это Шонгин требует. Он сидит согнувшись.

А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется.

— Слышь, Коль, — говорит Сашка, — скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.

— Помолчи, — говорит Шонгин.

— Сейчас еще танков не хватает на нашу голову, — говорит Гаврилов, — они по тылам ходят.

Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сторел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари... Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рывкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, в раскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!

И опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в темень.

Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем минометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики.

— Наши идут.

— А днем-то их не видать.

— Пусть хоть ночью.

Подходит командир взвода младший лейтенант

Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода.

— Опять переезжаем? — спрашивает Сашка Золотарев.

— А как же, — говорит Карпов, — вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться.

— Отсиживались... — говорит Шонгин, — вон скольких потеряли!

— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, старому солдату говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно, война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой краснощекий, молодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом. Попробуй потаскай на себе ЗИСы. Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо: прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзают. Быстро и наверняка. А мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.

«ГДЕ ВАША ДОЧЬ?..»

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой.

— Давай поступимся... — говорит Сашка Золотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.

Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь любезны...» Никто не отвечает. «Мадам, я остался в живых. О, если б вы знали, что там было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда, мундир — в гардероб, шпагу — на стул...» «Благодарю вас... А где же ваша дочь?..»

— Спать... Спать... Спать... — говорит Коля.

Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Вино?..» — «О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в ставню.

— Замерзнем к черту.

— Пошли в другую.

— Еще разок постучи.

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню.

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»

— Чего вам еще?

На пороге раскрытой двери — женщина. Она закутана.

— Нам бы переночевать, мамаша.

— Мы в живых остались, — говорю я.

— Радость-то какая... — говорит женщина, — только вас и не хватало.

— Мы зайдем? — спрашивает Коля.

— Холодно очень, — говорит Сашка.

— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.

В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем?

Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.

— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно

только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — у меня тепло.

— А ты кто?

— Какая разница? Лезь. У меня тепло...

— Манька, — равнодушно говорит хозяйка, — смотри у меня...

— Тебя не спросилась, — говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит.

— Лезь сюда.

— Обожди, ботинки сниму.

— Лезь. Какая разница?

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат... Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька... Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?

— Мария Андреевна...

Вот тебе раз! Как же так... У нее горячий упругий живот, руки маленькие цепкие.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать. А что?

— Тишшше...

— А что? А что?

— Услышат...

— Пусть... Иди поближе.

— Манька, — говорит хозяйка, — ой, смотри, Манька...

— Сама разберусь, — говорит Мария.

А внизу покашливает Сашка Золотарев. А Коля говорит:

— Хозяйка, а тебе не холодно?

А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось.

— А сердце-то у тебя ой как бьется, — смеется она прямо мне в ухо, — испугался, что ли?

А Коля спрашивает:

— Тебе не холодно, хозяйка?..

Так просто? И Нина вот так же? И все?..

— Ты что, не живой, что ли?

— Пусти меня.

— Да я ж шучу, дурачок...

— Пусти, Мария...

— Мария... — говорит хозяйка, — как же, Мария. Дура белобрысая, а не Мария.

— Пусти, хуже будет.

— Ну давай так полежим, ладно?

— Пусти...

— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.

...На лавке — прохладно. Сашка покашливает. Коля говорит из своего угла:

— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь шинелью покрою?..

...Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А, может быть, это хозяйка. А, может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. Засмеют-засмеют! И поделом мне. Сама просила. Уговаривала... Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату или в штаб пойду, или к машинам пойду... А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. Шестнадцать лет... Коля про таких говорит «кровь с молоком...» А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.

— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.

Это у меня бред. А меня засмеют-засмеют... И все-таки кто-то плачет. А может быть, это Мария смеется?..

Утром Сашка Золотарев говорит:

— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты.

Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате — ни Марии, ни хозяйки.

— Что ж с нами теперь будет? — спрашиваю я.

— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем новую технику и — снова.

— А машины побиты?

— Начисто.

— А кухня работает?

— Какая там кухня...

Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата.

— Вот, выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. Вставай, Мыкола!

И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.

— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля спит.

— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — Пускай его спит. Устал ведь.

Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит.

— Давай сварю, — говорит она и берет у Сашки концентрат.

...Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку... Я уж этой деревянной сейчас поем. Давно ложки у меня не было... Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот

начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И лицо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на носу — несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок.

— Ну как, конопущечка, — говорит ей Сашка, — как жить дальше будем?

— Проживем, — говорит Мария.

— Вкусная штука получилась, — говорит Коля и смотрит на хозяйку.

— А что это вы друг на друга и не похожи вроде? — спрашивает Сашка. — Живете вместе, сестры как будто, а не похожи...

— А мы и не сестры, — говорит Мария, — мы чужие. Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась, — говорит Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит.

И вдруг входит Шонгин.

— Ну вот, принесло, — громко говорит хозяйка.

А Шонгин садится на табурет.

— Много народу побило, — говорит он, — и раненые есть. Увезли. — И достает кисет.

— Покурим? — спрашивает Сашка.

— А чего курить, — говорит Шонгин, — тут и на одну не наберется, — и показывает кисет.

— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.

— А я и не спал, — говорит Шонгин, — раненых больно много было. Пока всех подобрали, и утро.

— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.

— Покури, покури, — говорит Шонгин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма. И говорит: — Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь? — Козье молоко, — говорит Мария.

— А я уже ел, — говорит Шонгин, — ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной капелькой на носу. «Попадался — не попадался...»

— Сильно его, Шонгин?

— Приблизительно ничего себе, — говорит Шонгин, — на машине лежит на последней. Сейчас повезут.

Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает капелька.

— Попадался, — грустно улыбается он.

А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

— Куда тебя?

— Голова попадался, живот попадался, нога тоже попадался... Шонгин меня носил на своем спине...

— Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо будет.

Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены.

— Какой у нас часть? — спрашивает он, — какой номер?

— Отдельная минометная батарея, друг.

— Нэт, полк какой?

— Кажется, 229...

— А дивизия какой?

— А зачем тебе?

— Госпитал спрашивают...

Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.

— Какой дивизия?!

— А черт ее знает, — кричу я.

Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал, уехал... А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:

— Собирай всех. Пора. Отдохнули.

...В хате нет никого. За домом на бревне сидят хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит.

— Пора, Коля, — говорю я, — комбат приказал...

— Знаю, — говорит он и встает. И смотрит на меня.

Я жду его.

— Знаю, — говорит он.

Я ухожу. Пусть прощаются.

ДОРОГА

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля, — брезент и все такое. Сидят, как дома. А тут...

— Я уже ног не чувствую, — говорит Сашка Золотарев. — Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они, как корабли. Встал в воду — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то — в другую. Где-то, неизвестно где, остался полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне неизвестно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли.

— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.

— Что?

— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим-покурим, — так говорил. — Потеха.

— А она тебе про меня говорила?

И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что-нибудь...

— Нет, не говорила, — хмурится Коля. — Чего говорить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречу с ней, ну просто так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша пришел, а спать нельзя: коня расседлай, напои, накорми, а время останется — сам отдохай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают, — говорит Коля, — и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко, — ворчит Шонгин. Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.

— Слезай, ребята. Грейся.

Писем из дому нет. Что там?..

— Шонгин, ты из дому письма получаешь? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня внимательно.

— Получаю, а как же, — говорит он и достает кигет и предлагает мне закурить.

— На-ка вот. Погрейся.

Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь подошел. «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю...»

— Шонгин, дай закурить, — говорит Сашка.

Шонгин топчется на месте: ноги греет.

— И так хорош, — бубнит он.

Когда темно, снега не видно. Словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется.

— Что, вояки, замерзли?

— Замерзнешь, — говорит Коля, — старшине-то тепло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров, — говорит Карпов.

Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукивает по котелку.

Подходит Гаврилов и говорит тихонько:

— Ребята, впереди машины с крупой какой-то... И водители спят...

— Ну и что? — спрашивает Шонгин.

— А ничего, — говорит Гаврилов, — я к тому, что спят водители.

— А не плохо бы нам по котелку крупы отсыпать, — говорит Сашка Золотарев.

И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка — ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я заболел воспалением легких?

Из дому писем нет. Где ж ты, почта полевая?

ШКОЛЯРЫ

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу.

— О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина.

А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?

— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...

Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться не можем...

— Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.

...У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось?..

— Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

...А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоса прибоа? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки скороходовские. А зимой — калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово один за другим и клялись погибнуть за родину. Потом она сказала:

— Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто воевать? Войне нужны молчаливые хмурые солдаты. Воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты... — она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения книжек. А там — смерть, смерть... И она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты? — крикнул кто-то.

— А я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду.

— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?

— Нужно быть внутренне готовым...

— Заткнись, Женька...

— ...Иначе никакой пользы от вас не будет.

— Заткнись!..

— Хватит, — сказал комсорг, — что это мы, как семиклассники, расшумелись?

А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это значит, я, кроме книжек, ничего не умею?..

— ...Завтра поедем минометы получать, — говорит старшина, — еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.

— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков?

— А разве я смогу?

— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?

— Буду, — говорю я.

Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел, Женя сказала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдерживает взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.

— Пошли! — крикнул я.

— Заткнись, — сказали мне, — заткнись, трепло...

Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:

— Ладно, продолжим повестку дня.

А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомольцев.

— ...Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку, — говорит старшина и уходит.

...А после собрания мы шли по набережной все вме-

сте. И Женя шла с нами и только не смотрела на меня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята, — сказал кто-то. И тотчас завывла сирена. А я очутился рядом с Женей.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.

— Конечно, — сказала она миролюбиво.

— Значит, из нас воины не получатся?

— Конечно.

— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?

— Да, — засмеялась она.

— И равнодушным, да?

— Нет, — сказала она, — этого я не говорила.

— Пойдем туда, — я указал в темный переулок.

Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще насто-
рожнее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На
третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом по-
плыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?

— Да, — сказал я.

Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завыв-
ла сирена...

... Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не
каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остано-
вился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит
за столом. Пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий
такой, бреется у окна. И сквозь белую мыльную пену
видно, какие розовые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Зо-
лотарев.

— Значит, воровал чужое пшено? — спрашивает
комбат.

— Воровал, — вздыхает Сашка.

— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что
другой голодным останется?.. Думал?..

— Думал, товарищ лейтенант.

— И что же?

— Хотел сам наесться...

— А ты знаешь, что за это?..

— Знаю, а как же... — тихо говорит Сашка.

— Он всем роздал, — говорю я с порога.

Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? Хоть бы ударил.

— Жулье, а не батарея! — говорит он.

— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них Гринченко — образец... Все про любовь да про жратву разговоры...

— Ладно, Карпов, брейся, — говорит комбат, — я же о другом.

А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался...

— Кругом! — кричит на меня комбат.

Я иду к себе. Может быть, Женя и права? Может быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр... И опять я встречу Нину. «Привет, малявка, — скажет она, — давно мы с тобой не виделись. Посидим-покурим, да?»

РАЗГОВОРЫ

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз. Большой искромсанный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступ-

ление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом обмундировании. Как с иголки. На новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне...

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. И спит. Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовой. Теперь и не поймешь, у кого пунцовой — у него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голеницам, как теленок, хвостом отгоняющий мух. Голос у него стал звонче. И почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего, — говорит Коля Гринченко, — вот он и суется куда ни попало.

— Командир, — говорит Шонгин.

— На передовой-то его и не слышно было, — говорит Сашка, — скоро воспитывать начнет.

— Командир, — говорит Шонгин. — Как же без этого?

— Он скоро до нас доберется, — говорю я, — вон он как на Колю все поглядывает.

— Он меня не любит, — говорит Коля, — вот комбат, тот любит. А этот нет.

— Комбат — это, конечно, другое дело, — говорит Шонгин, — этот с веточкой ходить не будет.

— Он умный, наш комбат, — говорит Сашка Золотарев.

Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голеницам веточкой. Он говорит Коле:

— Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь. Мы ведь — артиллерия.

— Так точно. Артиллерия, — говорит Коля и улыбается.

— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.

— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улыбается.

— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдержанно-сдержанно, — здесь на фронте эти фокусы ни к чему...

— Так точно, — говорит Коля и улыбается.

Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шонгин стоит смиренно, руки по швам. А я хочу встать смиренно, а не могу. То левая нога согнется, то правая.

— Снять и доложить, — говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями.

— Так я же не противился, — говорит он, — что это его?

— Командир он, — говорит Шонгин, — а ты молодкосос. А ну-ка тебя так...

Коля уходит, размахивая ремнем.

— Нарвется, — говорит Сашка Золотарев.

Непонятно, о ком это он: о Карпове или о Коле. Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло.

Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.

— Уйду к разведчикам. Лихие ребята, — говорит он.

Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать — тоже, говорить — тоже. Пополнения нету.

— Отправили бы куда-нибудь подальше, — все равно без дела сидим, — говорит Сашка. — Поехали бы мы в городишко... В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут...

— Тебе бы Карпов дал бы там, — говорит Коля.
— Яблони и без тебя зацветут, — говорит Шонгин,
— а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде... Вот
когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр, — говорю я, — по-
том всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Э-э, болтать-то, — говорит Шонгин.

— Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь толь-
ко тогда, когда город какой-нибудь освобождается.

...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень.
Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на
трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки.
А в кармане лежал покет из военкомата. И в нем —
наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете, — сказал нам начальник второй
части, — не маленькие.

Мы и поехали.

Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы
ехали по вечерней Москве и молчали. А на Казанском
вокзале было страшно тесно. И мы сели на пол. И это
нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал
на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась иг-
ра. А я все время поглядывал по сторонам: может быть,
увиджу Женю. Нет, оркестры не играли нам на проща-
ние. Только на возвышении стоял рояль, и к нему под-
сел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный
вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал,
а сам все время поглядывал по сторонам: не идет ли
Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствова-
лось, что он старинный. Даже дети, которые плакали,
вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на
стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты, — шепотом сказал
мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Все слушали.
Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры... И я был

счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому мы причастились, который так не похож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь...

А морячок играл старинный вальс. В зале было душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и раньше слушали музыку. И, наверное, получше этой. Но эта была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережка.

А морячок продолжал играть. И длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве и козырнул и что-то сказал. Вдруг все, кто были ближе, закричали на офицера.

— Что же это, братишки... — сказал морячок, — а если мою мамашу фрицы сожгли?..

— Сидит здесь в тылу, — сказал Сережка, — пошел бы туда, знал бы, как с повязкой ходить...

— И чего он привязался? — сказала какая-то женщина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:

— Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!

Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат сказал мне устало:

— Иди-ка, парнишка, домой.

...Фронтные сумерки лезут в окна. Света мы не зажигаем.

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам сниться, — говорит Сашка Золотарев, — не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я, — у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да все не тому...

ДОРОГА

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я.

Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И всем надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком сидении из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите, не вывалитесь, пока я вздремну.

Едем.

Может быть, Нину где-нибудь встречу. Газик идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди — тоже холмы. А за ними — другие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой пустык. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины... Танки идут. Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали, — говорит Сашка. — Если бы не они, кто знает, как вышло бы.

— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки, — говорит старшина, не открывая глаз, — причем мамины калоши? Техника под Москвой все решила, техника...

А какой смысл спорить. Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому, что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот Сашка или я. Разве мы сможем? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли... Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще. Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу... Хорошо, что мы не пехота.

Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабинке. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

— Гляди, гляди, — говорит Сашка. — Сибиряк бежит.

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах —

погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, мальчишки?

Мы киваем в сторону передовой.

— А пятнадцатая уже ушла?

Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами.

Наш газик наконец трогается. Старшина спит. Он даже всхрапывает.

— Это потрясающе! — говорит наша попутчица и смеется, — храпит, как на печи.

— Он поспать любит, — говорит Сашка.

Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху. Как у клоуна. Старшина! А я солдат. А куда она, такая маленькая, тоненькая, совсем девочка? Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало... Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются... Девочка — старшина... Что случилось?

— Сорок юнкерсов позавчера на базу налетели, — говорит она, — это потрясающе. Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Сашка, — там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы, наверно, — говорит она и смеется.

...Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные, они знали, что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, и эта девочка не знает... А старшина спит, и Карпов настоящий командир, хоть и хмурый...

— Меня зовут Маша, — говорит она. — Я — стар-

шина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек била.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — говорит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.

— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.

— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.

У старшины шапка ползет на затылок.

— Да как ты со мной разговариваешь?!

— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина, — обращается она к нам.

Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.

— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?

Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.

— Как там дела? — спрашивает он у нас.

— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали, — говорит Маша.

— Ого! — говорит Карпов, — какой приятный пассажир. А вы-то не замерзли?

И он приглашает ее в кабину.

Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой приветственно.

Как, должно быть, в кабине тепло. От мотора воздух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.

Карпов лезет за ней.

— Нет, нет, — говорит она, — может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?

— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов.

— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит он, — сидеть по-человечески не умеешь, что ли?

...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет

язы, замерзну к черту. Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь...

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает старшина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду ложиться в десять вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой черт меня не взял...

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы еще около восьмидесяти километров.

— Как же так? — удивляется Карпов, — ведь сказали сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.

— Замерзнем, — говорит старшина.

Выходит из кабины Маша.

— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — говорит она.

— Правда? — радуется Карпов.

— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

...Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводит пальцы, и губы зачоченели, и ноги, как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить кипяточку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу.

— Тут вам будет удобнее.

И обращается к нам:

— А вы, друзья, вон в тот, где окно светится.

— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — после смените меня.

Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.

— Это наши, мама, — говорит девочка.

Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в шали. Она похожа на мою маму. Очень. Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели.

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.

— Больше, хозяйюшка, ничего не имеем, — говорит Сашка, — рады бы.

— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас покормлю.

— А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, — и старшину взял на побегушках быть.

Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похожа на мою маму...

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыхаюсь. Сижу с открытым ртом. Она смеется.

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова. Кружится у меня голова.

— Это из ваших сухарей сделала, — говорит она.

— Еще тяпнем? — спрашивает Сашка.

— Тяпнем, — говорю я.

Она наливает нам спирту.

— Надо бы и вам, хозяйюшка, — говорит Сашка. Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится.

— Маме нельзя, — говорит Вика.

— Немножечко, — просит Сашка.

— Маме нельзя, — говорю я, — что привязался?

Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама... Это чтобы мне не так жарко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.

— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.

— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. Какое совпадение... Какая встреча... Где-то у черта на куличках... Я очень рад, очень рад... Если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю.

— погоди, — говорит Сашка, — я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.

— Я устал что-то, — говорю я.

— Спи, мальчик, спи, — говорит мама. Она стоит надо мной.

— Мама, — говорю я, — я жив-здоров. Скоро вернусь... С победой...

...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого. Надеваю шинель. Бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я, — что же ты меня-то не разбудил?

— А ты спал — не добудисься, — говорит Сашка, — ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?

— А я выспался, — говорит Сашка. — Ну, походи немного, я погреюсь схожу.

— Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я — скотина. Проучить меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас к машине, я его перерезал бы очередью.

Из дому выходит старшина.

— Ну, как, ежик, все в порядке?

Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зеваает во весь рот.

— Иди, зови ребят. Ехать надо.

— ...Погодите немного, — говорит нам мама Вики, — сейчас пирог из картофеля готов будет.

— Спасибо, нам пора, — говорю я.

— Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, — говорит Сашка.

Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам.

— Выяснили точно. Еще тридцать километров до базы, — говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.

— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

— Это пирог! — кричит она. — До свиданья!

Мы долго машем ей руками.

— Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.

— Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.

— Они спали, — говорит старшина.

— Ну, значит, вы не спали, — смеется Маша, — кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «Маша, мне надо с вами поговорить!»

— Я не стучал, — говорит старшина.

НИНА

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — Мы разминулись. Ждать не стали.

— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать, — говорит Карпов, — тоже штучка ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляйтесь. Мы в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги... А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.

— В сапоги можно наvertеть тряпок до черта, — говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.

— И не промокнут, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал и гуляй.

— И ложку можно за голенище заткнуть, — говорю я.

— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит Сашка, — потянул и готово.

— Надо за ушки тянуть, — говорю я.

— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, Господи?! — слышу я за спиной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина...

— В гости приехал?

— Тебя искал, — говорю я, — с тех пор все ищу. Она смеется. Она рада. Я вижу.

— Ах ты, мой дорогой... Вот дружок настоящий. Не забыл, значит?

Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.

— Пойдем-ка, поедим. Поговорим что да как, да?

Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней...

Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Никого нет.

— Все уже обедали, — говорит она, — это я опоздала. Сейчас выпросим у Феди порцию.

— Федя, — говорит она в окошечко повару, — дай, Федя, супу. Ко мне дружок с передовой приехал...

И Федя наливает полную миску супу для меня. А Нина отламывает кусок хлеба от своего.

— С миру по нитке?.. — спрашивает в окошечко черный усатый Федя.

— Здесь тепло, — говорю я.

— Ну как там у вас? — спрашивает она, — Коля как поживает?

— Нина, — говорю я, — а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал-думал о тебе... Что же ты молчала?

— А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да?

— Что же ты молчала?

— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встретилась бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут понял наконец.

— Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?

— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе — розовая жакетка, а шапки никакой...

— Совсем никакой?

— ...Мы идем по Арбату...

— Да ты ешь. Холодный, наверно, суп, да?

— Мне ведь скоро уезжать. Обратно. Хочешь, я тебе письмо напишу?

— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть. Черноглазенький. На всю войну — один. А они мне не верили. Смеялись. А ты ведь помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?

— А другим-то ведь другое нужно...

Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже, — губы у нее кривятся. — Как хорошо-то было...

...А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеленые сумерки наступают.

— А здесь даже выстрелов не слышно, — говорит Нина, — только раз бомбили.

— Послушай, Нина, — говорю я, — ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так. Как мы там живем... А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь не Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все. Сама отправишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание... да?

— ...и когда война кончится, мы поедем вместе...

— Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя, — говорит она, — нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Федя, — только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала... А у нас в городе парк был...

— Нина, скоро мне ехать.

— Жалко мне тебя, — говорит она, — тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто, зачем это тебе, да?

— А тебе?

— А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил. Салаты...

— Мне ведь уезжать, — говорю я, — ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.

Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.

— Послушай, Нина, а тот майор, он что...

— Тот?

— Да, тот...

— О, ты его заметил.

Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом. Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать, не хотел...

— Ты что, жалеешь меня, да?

— Нет, только и ты меня не жалей, Нина.

— А что ж ты дальше-то делать будешь?

— Буду ждать писем твоих.

— А если не дождешься? Всякое ведь бывает...

— Дождусь. Ты ведь обещала.

— Зачем тебе это, глупый...

Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том говорил.

— Вот у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я.

Она смеется. Смахивает крошку.

— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.

— Пусть хватятся, — говорю я. — Пусть хватятся. Семь бед один ответ.

— Смелый ты у меня какой, — смеется она. И проводит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча.

Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.

— Не надо, — говорит она, — так лучше.

И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель.

...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг. Разглядывает.

— Сейчас поедem, — говорит он.

ПОТЕХА

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, когда мы догоним свою батарею? Может быть, будет тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не застанем... Вот приедем на место, буду ждать писем от Нины... А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто уставился неподвижно в разбитую дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..

— Товарищ младший лейтенант, — говорю я, — если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, на-верное.

Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.

— Федосьев, — говорю я водителю, — а хорошая теперь у нас машина...

— А я не Федосьев, — говорит он, — я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Было раз — Федишкиным назвали. Потеха ведь. А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества.

Мы везем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтовая норма.

— А винцом-то пахнет, — говорит Федосеев.

У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие крупные. Он говорит нараспев. Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

— А винцом-то пахнет, — говорит он.

Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до вина дотянуться? А на батарее сейчас принимают пополнение. Новички. Юные ребята, наверное. Стоят, озираются. Потеха. Школяры. Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать ты горазд, Гринченко...» А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить, — спрашиваю я, — что получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Федосеев, — скорость увеличится. Это если газу приба-

вить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить...

— Ну и пусть трясет.

— А зачем нам?

— А интересно ведь, когда трясет....

— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.

А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гнал бы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще.

— А винцом-то пахивает, — говорит Федосеев.

А ведь, действительно, вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть хочется. Только вина нам не пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить, — говорит Сашка на ухо мне.

Вдруг Карпов услышит. Он нам даст...

— Конечно, можно, — говорит Карпов, не поворачивая головы.

— Это только прикажите — пара пустяков, — говорит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она, как по маслу, вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильнее и сильнее.

— Каждый пробует свою норму, — говорит Карпов, — не больше.

— Закусить бы, — говорит Сашка.

— Закусывать на батарее будем, — говорит Карпов.

Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку.

— Котелочки подставляйте, — смеется Сашка, — чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывает. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет, — говорит он.

— Это ничего, — говорит Карпов, — ничего.

Он отпивает несколько глотков.

— Чистый бензин, — говорит он и сплевывает.

— Без этого нельзя, — говорит Федосеев, — шланг ведь. Ну-ка я попробую...

Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется сразу.

— Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка.

— Бензиновый дух — это самое полезное, — говорит Федосеев, — никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка дай-ка котелочек-то...

— Ну, теперь давайте по норме отливайте и все, — говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.

— Никто не может объяснить, какая норма.

— Пока пьется, — говорю я.

— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за штучки!

Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.

— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе машину вести.

— Водичка, — говорит Карпов. — Я этого добра могу два литра, и ни в одном глазу. Водичка.

— Да, — говорит Сашка, — это тебе, брат, не водочка. Водичка.

Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких, — говорит он.

— Пора бы ехать, — говорит Федосеев и лезет в кабину.

— Нашел место, где остановиться, — говорит Карпов, — на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то.

— А ты здорово ухлестнул, — говорит Сашка Карпову.

— Я еще не так могу. Я чистый спирт могу, — говорит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.

— Меня Алексеем зовут, — говорит Карпов.

Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два брата.

Мы залезаем в машину.

— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка.

Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется в котелок.

— На-ка, попей, — тычет Сашка котелок Карпову, — попей, Алеша, водичку...

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы винная бочка. Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я. — В рот, что ли?

А Сашка качает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.

— В бочке, — говорит Сашка.

— Купается, — смеюсь я.

— Купается? — спрашивает Карпов, — я и не видел.

— Эх ты, Алеша, — смеюсь я.

Он хороший, этот Карпов, зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щеко-чу его шею.

— Эй, Алеша, — говорю я, — не грусти.

Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Все хорошие. Вот когда мне сапоги дадут, я еще не так воевать буду.

— Сашка, — говорю я, — заткни бочку, противно. А Сашка плачет. Большие слезы текут по щекам. Как у ребенка.

— Куда я еду? — всхлипывает он, — надо мне больно ехать с вами! Меня Клава ждет... Где ты там, Клава?..

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Все равно противно. А если розы — с гуталином?.. Вот если тихонечко нить, тихонечко-тихонечко по-комариному, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев.

А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не протянешь. Тесно.

— Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу мою собаку.

— Куда приходиться?

— Улица Волжская, дом восемь.

— Потеха, — говорит Федосеев.

А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы — бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабудешь... Купи мне пачку «Норда» на память... Простимся у порога, Клавочка, купи себе платок пестрый, — слышится из бочки, — а придешь — еще денег дам...

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому что этот запах проклятый... Прости меня, Нина. Тоненькая, маленькая, вся странная... неизвестная... прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.

— В батарею, — говорит Федосеев. — Вон они уже летят, летят.

— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь?

— Она самая. Вон она, рядышком.

— А на что мне она, Федосеев?

— ...мне там делать нечего.

— Заворачивай ко мне на чашку чая...

Я бы тоже чаю попил. А то этот запах проклятый...

...Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер.

Впереди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот. Мы вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?

— Прибыли. А батареи нет. Никого нет, — говорит Федосеев. — Ушел фронт. Надо догонять... А ты хорош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напились. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — фонарь «летучая мышь». Желтый огонек ничего не освещает.

— Стой, Федосеев, — говорю я.

Машина останавливается. Карпов проснулся. Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.

— Это же свои, — говорит Федосеев, — узнаем-ка, что там такое?

А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает дверцы.

— Ребятки! — кричит фигура, — ребятки, помогите нам по-быстрому. Тут дружков наших побило. Зарыть надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зевает.

Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.

— Пулями побило! — говорю я.

— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов.
— Где убитые?

Солдат машет фонарем.

— Тама, тама, — говорит он, — все... семеро. А нас двое живых-то. Помогните, ребятки.

— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем на батарею опоздать?

— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все, как свиньи. А тут бой идет, — громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмиком долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай, долби ее. Сейчас мы все возьмемся.

А чуть в стороне — лежат тела убитых. Их снегом запорошило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил.

— Молчи ты... — говорит Сашка.

— Беритесь-ка за лопаты, — говорит Карпов.

— Всем надо братья, — усмехаюсь я.

Сашка и Федосеев смотрят на меня.

— А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов.
— Вот и у меня лопата есть.

А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю?..

— Да погаси ты фонарь, — говорит Карпов.

Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить?..

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый солдат, лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров, — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к могиле?! Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги. Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки, — говорит из ямы первый солдат, — не уроните.

— Никак Леня, — говорит Егоров, проходя мимо.

— Это наш Леня, — говорит первый солдат, — дайте его сюда.

Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его.

Потом мы приносим еще одного, еще одного.

— Салтыкова сверху. Он молодой был, — говорит первый солдат, — ему лежать легче будет.

— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.

— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант, — говорит солдат, — а помолчать я могу, конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно...
...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ

...А кто считал, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал? А сколько я поросят передал заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят... Мы ведь не просто позицию меняем: лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану. Хорошую новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги... Это, когда кончится. А когда он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!.. — кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой. — Огонь!..

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать «Ванюша». И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даже кричит, а еле слышно, — накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.

— Слава Богу, — жалобно смеется Сашка, — руки оторвались. Заменить-то нечем.

Приходят из укрытия ЗИСы. Цепляем минометы. И снова хрюканье «Ванюши», и шуршание мин над го-

ловой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло. Как противна беспомощность собственная. Что я кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, и вдруг — на тебе... Лучше в пехоту, лучше в пехоту... Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а-а!.. и уж кто кого... и никакого страха — вот он враг. А тут по тебе бьют, а ты крестишься: авось да авось... Вот опять. Похрюкивает «Ванюша» все настойчивее, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истошно кричат наши ЗИСы, выкарабкиваются из зоны огня... Скорей же, черт!

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще раз. И вой...

— Ложись!..

Шонгин сзади кружится на одном месте.

— Грибы собираете?! — кричит Карпов.

— Обмотка...

И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.

В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я! Мамочка моя милая... жив... Снова жив... Я жив... я еще жив... у меня во рту земля, а я жив... Это не меня убили...

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Мамочка моя милая... все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели... Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь... Вот его котелок, автомат... ложка!.. Лучше не смотреть, лучше не смотреть.

— Прямое попаданье, — говорит кто-то.

Коля берет меня за плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишь-ся.

Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шонгина остались несколько человек.

— Давай, давай, — подсаживает меня Коля.

— Все целы? — спрашивает Карпов.

— Остальные все, — говорит Коля.

...К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. И останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются, — говорит Сашка.

— Теперь уже пошло, — говорит Коля.

— Теперь наши стали и днем летать, — говорю я.

— А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.

— У него голова, как котел. Все выдержит, — говорит Сашка. Он смеется. Тихонечко. Про себя.

— Жалко Шонгина, — говорю я.

Мы молча доедаем суп.

— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — хлебнул пару раз — и все. А тут, пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Сашка, — новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница... Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая связка.

— Они мытые, — говорит Сашка, — фрицы чистоту любят. Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.

— Они мытые, — говорит Сашка.

Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал...

— Они мытые, — говорит Сашка.

...А потом совал за голенище. А там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова вылизывал... На одной ложке — засохший комочек пищи.

— Ну, что ж ты? — говорит Коля.

Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю почему...

Мы сидим и курим.

— «Рама» балуется, — говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злится, — говорит Коля, — вчера, небось, по этой улице ногами ходил летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу.

— Больно, — говорю я, — что ты ложки раскидываешь?

— А я не в тебя, — говорит Сашка.

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется, — говорю я, — больно очень.

Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.

— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже... — Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганные ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка, — что же это такое?

— «Рама», — говорит Коля, — хорошо, что не в голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дзот не бросался. В штыки не ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

— Жилу задело, — говорит Сашка.

— Что ж никто не идет, — спрашиваю я, — я ведь кровью истеку.

— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.

Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает укол мне.

— Это, чтобы столбняка не было.

Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже не интересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, к чему они мне теперь?.. Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться, — слышу я голос комбата.

Какая разница, где устраиваться.

Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, кто сует... Какая, впрочем, разница?

— Это документы, — говорит Коля, — в медсанбате сдашь.

Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня.

— Прощай, — говорит Коля, — ехать не долго.

— Прощай, Коля.

— Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — увидимся.

— Прощай, — говорю я. — Конечно, увидимся.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата. Укладывают на пол. И я засыпаю снова.

...Это большая прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. Топится печь. Меня тормозит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. Ложка?!...

— Ложку-то не потеряй, — говорит сестра.

Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к глазам. Алюминиевая сточенная старая ложка, а на черенке ножом выцарапано «Шонгин»... Когда же это я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин... Вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. Только я знаю... Я упрячу это ложку поглубже. Буду всегда с собой носить... Прости меня, Шонгин — старый солдат...

Сестра возвращает мне бумаги.

— Спи, — говорит она, — спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.

Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята. Теперь будем коньячок попивать...» Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить не

чем...» А Шонгин скажет: «Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята...» А Шонгин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат — даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня. Бинт у него соскочил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра.

— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смотрит на меня. Глаза у него большие, злые.

— Из минометной? — спрашивает он.

— Да, — говорю я. — Знакомый? Знаешь наших-то?

— Знаю, знаю, — говорит он, — всех знаю.

— Тебя когда это?

— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?

— А Коля Гринченко...

— И Колю твоего тоже.

— И Сашку?!

— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я остался.

— И комбата?..

Он кричит на меня:

— Всех, говорю! Всех! Всех!..

И я кричу:

— Врешь ты все!

— Врет он, — говорит кто-то, — ты его глаз не видишь, что ли?

— Ты его не слушай, — говорит сестра, — он ведь не в себе.

— Болтать он горазд, — говорю я, — наши вперед идут.

И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно плакать и не от горя... Плачь, плачь... У тебя не опасная рана, школяр. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...

Август 1960 г. — Февраль 1961 г.

Промоксис

Рассказ

«...Я люблю парное молоко, но я от него отказываюсь, потому что не хочу, чтобы вы подумали, прекрасная Настасья, что я имею виды. Давайте забудем об этом. Посмотрите лучше, какое вокруг небо! А я ведь приехал не затем, чтобы наслаждаться парным молоком, а чтобы полной мерой почувствовать вашу красоту. И это настроило меня на высокопарный лад, хотя я в общем прост и избегаю особой выразительности. Но там, где я живу, а именно в городе, и в самом центре, там люди отучаются от свободного течения слов, а говорят лишь то, что крайне им необходимо по всяким условиям... Позвольте мне говорить, как у меня выливается, и нисколько не заботиться о том, какое это произведет впечатление на окружающих. Я плохого ничего не скажу, потому что думаю только хорошее, а уж как это будет сказано, — пусть останется на моей совести. Итак, я знаю, прекрасная...»

Но в этот момент она появилась снова и протянула ему кружку с парным молоком, а сама отвернулась, чтобы не очень, наверное, его смущать, и он стал с наслаждением пить это молоко, даже позабыв про приготовленную фразу. Да и зачем что-то говорить? Ах, это все напрасно! Он даже имени ее не знал. Просто проходил мимо, увидел ее в окне, хотел побалагурить, но испугался ее синих глаз и жалко выклянчил кружку парного молока. Почему молока? Объяснить трудно.

Он допил молоко и медленно вернул ей кружку, и в тот момент, когда она собиралась уходить, он вдруг почувствовал ужас, что больше никогда ее не увидит, хотя тридцать лет жил без нее и еще бы, наверное, прожил.

И этот ужас заставил его вскочить со ступенек, на которых он так странно устроился.

В мире, в котором жили бабочки, и стрекозы, и

различные звери, и росли деревья, и плыли облака; в мире, в котором люди придумали любовь с поцелуями, и песни, и подношение цветов и где соседствовали страх и смех, рождения и смерти, в этом мире ничто не могло существовать просто так, а все имело свою подоплеку, и ничто не могло казаться странным и лишним, потому что всему свое.

И это была, наверное, главная философия этого мира, в самом центре которого находились те ступеньки, на которых сидел вот сию минуту Павел Сытов перед ликом своей судьбы.

В левой руке он держал гитару. Был конец воскресенья, и пора было возвращаться в Москву, но он не представлял, как теперь это ему удастся, да и она никак не уходила обратно в свой дом, мучая его, вызывая в памяти робкий образ величественной его Маруси.

Черт знает, как это получилось!

А он-то... он-то!.. Мечтал ходить по незнакомым людям, всматриваться в них и говорить:

— Здравствуйте, это я, Сытов, с гитарой. Я вообще токарь. Но по воскресеньям играю на гитаре, на древнем инструменте, происходящем от древних греков, который назывался кифара и издавал звук при помощи щипания. Здравствуйте, это я, Сытов. Если кому что нужно, прикажите...

И вдруг он понял, что она смотрит на него с большим интересом. Смотрит — и все тут. Но он не решился поднять голову и любопытствовать, как именно она это делает. Может быть, она разглядывает как раз редкие волосы на его темени и знает секрет, как их восстановить?

И все-таки он взял себя в руки, пересилил свой страх и посмотрел на нее, но ее не было.

Печально и смешно сидеть одному вот так на крыльчке. А там, за дверью, она неслышно ходит по комнате и, наверное, прислушивается, ушел или нет. Ах, будь ты неладно! И от молока тоже вкус паршивый...

Лучше бы пиво... А все-таки Настасья она или кто другая? А что, если войти? И не постучаться, а просто... Вот он я, Сытов, с гитарой... И знаете, между прочим, я думаю, что незачем мне сюда много раз приходиться только потому, что так водится, а давайте с первого раза. У меня тоже есть достоинства, которые под ногами не валяются... Я Сытов. А вы?

А между тем становилось темнее, то есть солнышко уже зашло, и было преддверие вечера. Потом будет ночь. В августе ночи темные, густые, без надежды на утро.

И вдруг Сытову не захотелось вставать со ступенек. Ведь может человек позволить себе не вставать, когда ему не хочется вставать, а вставать надо? Ведь вот придет последняя минута жизни, спросишь себя самого: «Ну, как, брат?» — и ответишь: «Да в общем никак...» «Чего опасался?» «А кто его знает чего? Опасался — и все тут, стеснялся, наверное, или не приучен был к этому...» «Что ж ты, брат? А вот теперь поздно...» «И то верно...» Больше ведь ничего не придумаешь для ответа.

И вот, наверное, надо иногда себе позволять, то есть, позабыв про всякие правила, и не то чтобы убить, или оскорбить, или ограбить... Нет, нет, всего лишь не встать с чужих ступенек, чтобы, может быть, дожидаться ее, а может быть, и нет, но сидеть, потому что сидится.

И это так прекрасно: вечер, листья шумят, звезды (значит, дождя не будет), тишина, гитара теплым боком к тебе прислонилась. Воистину кифара! Впрочем, можем допустить, что у нее есть свой интерес: кто-то другой у нее, допустим. Тогда где же он? Шляется? Или может, он дома спит? Лежит на спине с открытым ртом, и она ему совершенно не нужна?.. А если так, то нечего и церемониться, можно и подождать... Или этот самый, наоборот, влюблен в нее до беспамятства... Тогда? Где же он тогда? Разве его место не здесь же, на ступеньках, рядом с Сытовым? Хотя, с другой стороны, почему он, Сытов, на Марусиных ступеньках не сидит?..

А между тем вечер накатился. Август — это не июль. Воздух был холоден. В доме было тихо. Может быть, она решила, что он ушел, потому и не интересуется? Почему бы ей действительно не выглянуть, не высунуться хотя бы? А если она считает, что он ушел, почему бы ему не побренькать на гитаре и в качестве намека и для личного развлечения?

И он коснулся медных струн прохладными от вечерней сырости пальцами... И тотчас в доме одно окно осветилось, и желтый отсвет его упал на Сытова.

Нет, это не смешно, думал Сытов, сидеть здесь сторбившись да еще с гитарой. Другой, наверное, сидеть бы не стал. Он бы давно постучался...

И Сытов снова поддел струны с отчаянием и надеждой. Но она не выходила, а вместо нее возникла Маруся, словно стоит вот здесь перед ним, живая и горячая, и смотрит на него с укором.

Конечно, представлять можно все что угодно, но ведь есть и совесть, а почему-то она словно потерялась.

«Будем рассуждать таким образом: Маруся — человек легкий. Чего же мне надо? Но разве кто может определить: что и зачем? Отчего я сижу здесь в эту чистую холодную ночь, как дурак, с гитарой на ступеньках? Почему одна не выходит из дому, а другая — из головы? И словно здесь стоит, рядом, у этого вот куста? Молитвенно сложены руки, и очи страданья полны, и в сердце... И вот такая дребедень может прийти человеку в голову! Романс. Старинное барахло».

Он снова коснулся струн. Маруся качнулась у куста. Качнешься тут — холод какой! Прощай, лето...

Но Маруся сделала шаг к нему, еще один, протянула руку.

— С ума сошел?

— Нет, — сказал Сытов, — а впрочем, кто его знает?

— Сидишь на чужом крыльце... Эх ты!..

— Ты никому не говори, — сказал он, — это пройдет у меня... Гитару вот жалко.

Она взяла у него гитару и пошла прочь. А он пошел за ней. Он шел за ней легким индейским шагом и думал, что теперь олень врасплох его не застанет, а как выскочит из чащи, — тут ему и конец. И он поднял ружье повыше и выстрелил в небо, взял да и выстрелил. И больше не было ни Маруси, ни оленя, ни ружья. Та же лестница, то же крыльцо, и утро, и роса, густая, как пивная пена. Холод собачий! А возле дома мотоцикл. И мотоциклист постучал к ней в окно. Он был в сапогах, в черной кожанке на «молнии». И высок был и широкоплеч... Сытов хотел было крикнуть, что, мол, нечего в такую рань в окна, но спохватился: дом-то не его, и окно не его, и та, которая за окном, тоже чужая. А этот стучал так весело и даже отчаянно, как дятел по стволу. И Сытов решил затаиться: авось, пронесет.

Потом открылась дверь, и она сбежала по ступеням и так торопилась, что даже не заметила его, сидящего! Она поцеловала того, в кожанке, и уселась за его спиной, и обняла его за плечи.

И они покатали, сначала прямо по траве, словно Сытова и не было в этом мире, и ему захотелось крикнуть им, спросить: куда, мол, это они? Да неужели они такие счастливые?

Потом он вышел к станции в том месте, где дорога пересекает железнодорожное полотно и получается крест. И у самого этого креста пивной ларек, а у самого ларька тот самый мотоцикл, а хозяева неизвестно где. И сосны, и платформа с пассажирами, и провода, и утро — это как насмешка над ним, Сытовым, опоздавшим на работу.

И он подумал, подбираясь к ларьку мягким индейским шагом: да гори оно все! Пе-ре-сту-па-ю!.. Вот они все смотрят на часы, боятся опоздать на работу или на свидание, а я, передовой токарь, хожу среди них, и мне легко и прекрасно, и если меня изобразить на фотогра-

фии, я получусь достойным зависти и уважения. Уважайте меня! Среди вас живет и ходит Сытов с гитарой, полный любви и других чувств, любящий вас всех, потому что он сильнее и прекраснее вас. И пусть это на одно лишь мгновение, на одно утро, но это есть.

В это время из ларька вышел худой и усатый продавец пива, взял мотоцикл за руль, как за рога, и медленно стал вводить в ларек. Мотоцикл упирался, вертел рогами — не хотел идти, но не мог побороть человека.

Но как же так его берут, чужую вещь, среди белого дня и запихивают в свою лавочку на виду у прохожих? А где же те двое, что ехали обнявшись и полные счастья? И Сытов заторопился по платформе, вглядываясь в лица. Но словно специально для него все были парами, и все пары стояли, отворотившись одна от другой, спиною к рельсам, и тихо беседовали.

И все-таки, подумал Сытов, вот такие счастливые и плюющие на все, они ждут поезда, который их повезет, чтобы им не опоздать куда-то, и все-таки есть над ними сила в виде часов, которая им все диктует: как можно, а как нельзя. И только он, передовой токарь, позволил себе просидеть ночь на чужих ступеньках, а потом медленно идти через лес, а теперь бродить вот здесь и представлять, как мастер думает, что у него, у Сытова, может быть, ангина или перелом ноги. И только он, вертя августовскими рогами, как бык, которого в ларек не утянешь, продолжал размышлять обо всем, пока те, другие, были заняты взглядением друг на друга.

И все-таки это было приятное зрелище — наблюдать любовь вокруг себя, которая текла, как время, без скандалов и шума, по самым высшим законам. И если бы, подумал он, вдруг сама платформа тронулась с места и помчалась бы, они, наверное, и не удивились бы и не шевельнулись, а стояли бы вот так в обнимку и мчались бы неизвестно куда, выражая счастье на лицах и в каждом жесте.

И тут он снова вспомнил о Марусе, которая говорила ему:

— Чего это ты каждое воскресенье с гитарой на Клязьму едешь?.. Наверное, у тебя какая-нибудь там завелась?.. Чего ты там потерял? Ездит и ездит, как дурачок... Другие в гости друг к другу ходят, в кино, в парки, мечтают о будущем...

И он представил себе, что сидит с нею рядом, перебирает ее завитушки на шее, слушает ее воркотню, и ему не хочется почему-то закричать от переполненности чувств, разбить стакан или вообще бросить что-нибудь об пол, чтобы радостным звоном стекла изобразить свое счастье. Не хочется.

Он даже начал представлять себе, как все-таки это ему захотелось, и он вскочил, и крикнул, и бросил что-то, и закружился с ней, и они вместе помчались под грохот мотоцикла. ...Но получилось, что мчится он один. И сколько он ни начинал сначала эту езду, все Маруся куда-то сваливалась...

Когда он видел тех длинноногих, в ярких платьях и браслетах, разве он завидовал тем, что идут с ними рядом? И Маруся тогда возникала перед ним для сравнения, насмешливая и строгая, которой все ясно, и было хорошо укрываться этой ясностью перед уличной неразберихой.

Однако с Марусей в обнимку на мотоцикле не полетишь, крича и ликуя, не бросишь мотоцикл у пивного ларька, не позабудешь про него, чтобы ходить неизвестно где парой и не замечать людей...

Да неужели же нельзя иначе? И чтобы головы себе не ломать? А там, в цеху, все сбились с ног, наверное, а может быть, и нет, а он здесь. И никто не в силах разгадать эту великую тайну: кому что.

Электричка налетела стремительно, словно перед тем долго подкрадывалась. И вдруг, усевшись, Сытов сразу разглядел тех двоих. Ее! Они сидели у окна. И он что-то говорил. А она слушала, и губы ее чуть-чуть

шевелились. И причесана она была наспех, даже нечесаная скорее, и прядка одна пересекала ее лицо.

Но большой лоб ее на худеньком лице был все-таки открыт, и она словно несла его куда-то вперед, далеко, в неизвестность. И руки ее лежали на коленях, как у монашки. Она слушала. А этот, в кожанке, был не очень-то молод, и рука его терялась где-то за ее спиной.

Что они обсуждали, трудно было догадаться.

Зачем же Сытов всю ночь просидел на ступеньках? Чтобы этот не очень симпатичный и даже с нахальством в лице укатил бы ее вот так просто на мотоцикле? Эх, Маруся, не осталось живого места в голове! Если бы еще позавтракать, а тут на пустой желудок. И сидеть против этой нечесаной... Но (Господи ты, Боже мой!) просто оторваться невозможно. Вот оно как! Этот, в кожанке, говорит, а та, что рядом с ним, внимает, и ей, видно, лестно слушать его.

«Маруся! — крикнул Сытов в душе. — Разве я другого чего х о т е л?..»

И он опустил голову на грудь. Гитара молчала сбоку. Поезд шел и останавливался, шел и останавливался.

И вдруг словно на гитаре рванули струны. И все сместилось. Сытов ухватился за гитару, но она молчала. А там, впереди, черная кожанка мелькнула и замелькала от сиденья к сиденью мимо кричащих пассажиров, дальше, дальше... Как будто этот, с нахальным лицом, полз на коленях по проходу... И Сытов в тот же миг увидел два ее синих глаза и худенькую руку, протянутую вперед. Локоть... Плечо... Крик...

Некто в клетчатом пиджаке рвался за ползущим, но толпа мешала. А парень, высокий, в фуражечке, взобрался на скамью, как циркач, и того, в кожанке, кривым ударом... И снова тот пополз, и люди отхлынули к окнам, подальше, подальше... А она... Она встала перед клетчатым пиджаком, который был шире ее...

«Да что это они? — промелькнуло в сонном мозгу Сытова. — Эти двое бьют того, в кожанке, за нахаль-

ное лицо?.. Драка!» — вдруг понял он. И стал пробираться туда, поближе... А тот, в кожанке, опрокинулся снова. (Так его!) И стало слышно, как кричат. Жутко кричат. И Сытов пролез еще ближе и увидел перед собой кровавый крест на лбу того, в кожанке... И он полз со своим крестом прямо на Сытова, и уже не нахальство было в его глазах, а они были прищурены и горели, словно последним огнем, как у затравленного, когда пощады от него не жди... «Эх, гитару позабыл!» — подумал Сытов почему-то.

— Сергей!.. Сережа!.. — крикнула вдруг она. — Встань!.. Встань!

А парень в фуражечке, утирая губы, нагнал этого, в кожанке, и замахнулся, чтобы ключом... «Сейчас врежет!» — подумал Сытов.

И вдруг она снова протяжно закричала:

— Сергей, берегись!..

Так закричала, что Сытова качнуло вперед. И парень в фуражечке опрокинулся от его кулака на орущих каких-то, а ключ его, как воробей, упорхнул неизвестно куда, а Сытов добрался до клетчатого в пиджаке, рванул его на себя: «А ну, гляди, молодчик!» И клетчатый повалился, как соломенный.

И в этот момент Сытов перехватил ее взгляд. Она смотрела на того, в кожанке, а на Сытова — нет. «Не помнит, — подумал он, — забыла».

И вот они уже стояли рядом, он и тот, в кожанке, который успел стереть свой крест — и хоть бы что. А те, двое, полезли к выходу.

— Нельзя их выпускать, — сказал этот, в кожанке, Сергей, что ли.

— Пусть ползут, — отплюются, — сказал Сытов. Но тут парень в фуражечке обернулся и крикнул ей:

— Ну погоди, сука!

И тогда Сытов рванулся на этот крик, потому что

он успел увидеть два синих глаза и искаженное тоской ее лицо, а фуражечка плыла к выходу вслед за клетчатым пиджаком...

Те двое выбрасывались из поезда с отчаянием, еще до полной остановки. Сытов работал кулаками в тамбуре и не мог себя остановить. Нароботался. Теперь семь дней тошнить будет... Одно утешение — гитару пощадил. Она лежала на скамье и глухо звенела, старая подруга. Воистину кифара!

А та, с синими глазами, уже улыбалась и, улыбаясь, прикладывала ко лбу этого, в кожанке, платок, что ли... Потом она взглянула на Сытова и кивнула ему как-то туманно. «Не узнала, — подумал он, — не вспомнила... А этот ее симпатичный такой... Они его, наверное, сзади... Понедельник — день тяжелый...»

Приятно Сытову было ехать: она не причитала, эта, с синими глазами, и страха в ней не было и злобы. А те, двое, которые выбросились, наверное, тоже переступили? И Сытов усмехнулся и тайком пощупал мускулы на левой руке — ничего, внушительно...

Он пересел к ним поближе, робко, еле себя заставил... А не пересесть не мог.

— Спасибо, — сказал тот, в кожанке, и засмеялся.

— За что они вас? — спросил Сытов.

— Это мы их, а не они нас, — сказал тот, посмеиваясь. — За всякие слова, да?

Она кивнула. Сытов сидел перед ней прямо. Она оглядела его с гитарой и отвернулась к своему, в кожанке. «Не узнала, — подумал он, — не вспомнила...»

Он хотел сказать: «А здорово мы их?» Но не сказал. Он хотел спросить у нее: в Москву едете? Но смолчал. Конечно, в Москву. Глупости дорожные. Чужое, чужое... А зачем он тогда рядом сел? Почему не отправился в другой вагон думать, куда они с Марусей в следующую субботу поедут? Ведь если трезво прикинуть, эта тоже длинноногая. Мало ли что нечесаная... Хоть бы сказала что-нибудь, чтобы можно было глаза при-

крыть спокойно, а уж если и не прикрывать, а смотреть, то на нее смотреть прямо.

Но Сытов смотрел как раз на этого, в кожанке, которого звали Сергеем, а на нее не смотрел, как она этого своего бесстыдно гладила по голове и по плечу, на удивление вагону. Вагон-то молчит, потому что стыдно... А почему стыдно, никто не знает. А чего стыдиться? Взяли бы да и помахали кулаками! А теперь стыдно — за себя стыдно: вот, мол, по углам рассыпались. И за них стыдно: чего это они в обнимку сидят? «А я их здорово, — подумал Сытов. — Самбо...»

— А вы их здорово! — сказал этот, в кожанке, Сергей. — Я уж думал, конец. — И засмеялся.

— Кулаками махать нужно, — сказал Сытов дружелюбно. («А что? Парень симпатичный».) — Они сзади, что ли?.. Внезапность?

— Они к девушке вот к этой приставали, — сказала какая-то дама.

— Надо было без слов по шее, — сказал Сытов, не глядя на даму.

— Ему нельзя, — вдруг сказала она (с синими глазами), и зябко поежилась, и погладила этого своего. — У него на груди стеклянные ценности... — И тихонечко засмеялась и снова на Сытова ноль внимания...

«Да что ж это она?!» — подумал он.

И тогда этот Сергей вытащил из-под кожанки голубые и розовые пробирки, в которых переливались пузырьки и покоились неизвестные кузнечики с лапками, сложенными на груди, и с поджатыми коленками... Они были, конечно, неживые, и вот во имя их неизвестной славы он и полз по проходу вагона с красным крестом на лбу.

Он показывал своих кузнечиков и разглядывал их на свет, а она смотрела на него, и никуда больше: ни на Сытова, ни на даму, ни в окно, где сосны пополам с березами — вид прекрасный.

Когда из куска стали рождается на свет ось или,

скажем, колесо, — это ж можно петь и нести свою гордую голову по всему цеху, по городу, вдоль всей Клязьмы. Ведь этот поезд и колеса, на которых он бежит, и все, и все — ведь это под резцом лежало, и пело, и стружку вороную выпускало, и он, Сытов, припадая к станку, как к пулемету, разве думал (знал, но разве думал?) о кузнечиках, плавающих в спирту, или о мухах, или о тараканах?..

А Сергей покачал пробиркой, и кузнечик — или кто там еще — плавно перекувыркнулся..

— Гриллус, — сказал Сергей, — а этот вот пфеудонеуроптера, — и показал на маленькое что-то без головы как будто, — а это стомоксис...

Она засмеялась, глядя на Сытова.

«Не вспомнила, — подумал Сытов, — позабыла...» Стомоксис — фамилия этого кузнечика или мухи... Стомоксис... Как иностранный граф... И вот она, значит, сидела дома, давала Сытову молоко, а сама думала об этом своем Сергее, пока он там на мотоцикле носился за всякими стомоксисами и в пробирки их насыпал! И они лежали там в своих баночках, в своем спирту и требовали к себе уважения и любви (ну надо же!), как какие-нибудь родственники или гости... И он, высокий и уже немолодой, похожий на полярного летчика, брал этих стомоксисов бережно, двумя пальцами, чтобы не помять, и привозил, ей показывал... Наука? А у него, у Сытова, не наука? Наука. Так в чем же дело? Вот беда...

— Господи, — сказала Маруся у него в душе. — Пашка, убери руки! Люди смотрят...

А по вечерам где-нибудь в саду, на лавочке, или на притихшей набережной она говорила в самое ухо:

— Пашка, Пашка, черт! — И это все жарким шепотом. И она, как птичка, билась у него в руках и уже не говорила разных слов, а только: — Пашка, Пашка, Пашка...

Потом они шли по набережной неизвестно куда, а

навстречу шли другие парами, тоже неизвестно куда. Вот, если здраво рассудить, как хорошо: все как у людей. И пока у тебя все так, никто тебя не тронет, слова не скажет — целуйся, гуляй, завтракай...

А эти обнимаются в деловом поезде, когда все работать едут, стомоксисов показывают, и на всех им наплевать... Тоже переступили? И он на мотоцикле своем к ней торопится, и мотоцикл-то у него, наверное, чтобы к ней торопиться, лихо подкатывать к крыльцу...

— Маруся! — крикнул он в душе своей. — Поедем на Клязьму ходить по траве в обнимку и чтоб про всех позабыть! Жизнь короткая, а я тебя не знаю...

— Пашка, ненормальный, — сказала Маруся, — ты что, не любишь меня больше? А?.. Ты как маленький... — И жарким шепотом: — Дай руку. Вот сюда... Ну?.. Глупый ты...

— А ты касаточка моя, да?.. А почему жизни не хватает, чтобы радоваться?..

— Ты меня до дверей не провожай: наши увидят. Ну чего за платье-то? Пашка!.. Помнешь ведь!

...А в пробирках кузнечики, лапки сложив, покачиваются. Эта на этого своего смотрит, не оторвется... Несчастье! В древности меня за лихой удар подняли бы во-о-он куда... Стомоксис... А теперь я прогул совершил, и не по пьянке и не по вздорности, а совершил. Почему же? А потому, что мне надо было поглядеть, как они на стомоксисов своих смотрят и друг на друга — и что это все значит? Вот сейчас Москва будет, и они понесут своих стомоксисов неизвестно куда... И мы распростимся. И она даже не посмотрит на меня, потому что ей глаза нужны, чтобы видеть, как этот идет со своими пузырьками на груди.

Да, для этого у нее глаза. И вся она худенькая такая, а казалась тогда, в окне, плотной и даже пышной, и на мотоцикле, когда обнимала своего Сергея, тоже... А тут худенькая. Руки тонкие, загорелые. И лицо загорелое. А щеки даже ввалились немного. И когда улыб-

нулась этому своему, среди ровных белых зубов один темный с самого края. А этому хоть бы что: он и не замечает этих дефектов, он смотрит на нее во все глаза, и ему хорошо, что она худенькая, что нечесаная, заспанная, что с краю один зуб у нее темный, и это видно... А ну, улыбнись!.. У Маруси зубы как нарисованные и сама она спортсменка по плаванию, и платье, если она наденет, не хуже будет, чем у этой, помялось все... А вот сидит и держит его лохматую голову на своей худенькой руке, и ей тоже это приятно, что голова у него лохматая, с соломинкой какой-то, и держит она его голову не из форса: вот, мол, как я его крепко люблю, — и не для других, а для себя самой, по сторонам победно не смотрит.

...И тут поезд остановился. Незаметно приехали. Со всех сторон обступила Москва. И люди побежали.

Сытов старался выйти так, чтобы хоть в последний раз увидеть, как они идут, эти двое. Он выбирался из вагона и помнил, как Сергей кивнул ему на прощание и как она небрежно качнула ладонью — до свидания...

Вот они идут, торопятся. А рука его все так же на плече у нее. Хорошо, что гитара цела!

И вдруг кто-то взял Сытова за локоть, мягко, но требовательно.

Это был лейтенант милицейский, рыженький такой, молоденький, весь в новом. И он крикнул кому-то:

— Давай, давай... и тех бери! Во-о-он пошли...

Это они пошли? — спросил он у Сытова.

— Что? — сказал Сытов.

— Дружки твои?

— Пустите мой локоть, мальчик, — сказал Сытов очень мягко, неторопливо. — И тыкать мне не надо...

— Ах ты! — сказал лейтенант. — Не разыгрывай! — Но локоть выпустил. — Иди, иди, давай...

И Сытов пошел, прижимая к боку гитару, пошел, как нож сквозь масло, потому что публика расступалась с любопытством и неприязнью.

— Что же это случилось? — сказал Сытов. — Может, я украл что-нибудь, а сам не заметил?

— Иди, иди, — сказал лейтенант. — Слюни не распускай!

— Ах, как некрасиво! — сказал Сытов, пряча усмешку. — Это вам не подобает... Вы же такой молодой и симпатичный... Зачем это?

— Сейчас у меня протрезвеешь, — сказал лейтенант.

«Как он передо мной прыгает! — подумал Сытов. — Ему нужно показать, что он все может, все ему позволено, потому что он незаменим на этом месте, а если бы не он, то все бы перевернулось, и я, например, ходил бы на руках и всех бил бы по головам кифарой».

И они прошествовали к зданию вокзала.

«Как в магазине», — подумал Сытов, когда вошел в комнату дежурного, потому что барьер похож был на прилавок и капитан за барьером ходил, как продавец, и Сытову стало смешно про себя, и он чуть было не сказал вслух: «Двести грамм сосисочек...»

А этот, в кожанке, Сергей, тоже был здесь, стоял возле прилавка, и она, с синими глазами, стояла вплотную к этому своему, и рука его все так же лежала на ее плече.

И вдруг Сытов только сейчас понял, что платье у нее зеленое, помятое все. Почему он раньше-то не замечал?

«Сколько разных изобретений, — подумал Сытов, — чтобы я со своей досточки не сошел и на чужую бы не ступил!»

А капитан тем временем вышел.

Сытов присел на лавку, потому что от голода стало трудно стоять.

— Не рассаживаться! — сказал лейтенант, и гитара зазвенела.

Тогда Сергей подмигнул Сытову и сказал этому рыженькому, симпатичному на вид:

— Зачем же вы так строго? Мы ведь ни в чем не виноваты...

— А ты язык не распускай и встань, как положено! — сказал лейтенант, и гитара снова зазвенела.

— А как положено? — спросил Сергей, будто он совсем наивный.

— Руку с плеча убери!.. Парочка...

— Зачем же вы так? — снова сказал Сергей. — А вдруг мы не виноваты? Как же вы будете потом нам в глаза смотреть?

— Положи гитару! — сказал лейтенант Сытову. — Чего ты ее за струны дергаешь?

— Я не дергаю, — сказал Сытов.

— Дергаешь! — сказал лейтенант. — Она звенит у тебя...

— Она звенит, потому что чувствительная, — сказал Сытов. — Она не может, когда меня тычут...

А эта, с синими глазами, засмеялась, и рыженький на нее уставился...

— А мне что сделать? — спросила она.

Но лейтенант ничего не сказал, потому что вошел капитан, и Сытов подумал, что теперь этот рыженький должен стать послушным и ручным. Как ты перед ним прыгать будешь, а? А ну посмотрим...

И тут началось: всякие там фамилии, род занятий, место жительства.

— Много выпили? — спросил у Сытова капитан.

— Одну кружку, — послушно сказал Сытов.

— Что пили? — спросил капитан.

— Молоко, — сказал Сытов.

— Да вы не слушайте его, товарищ капитан, — сказал лейтенант, улыбаясь белыми зубами. — Ты брось трепаться! — сказал он Сытову.

— Ну ладно, ладно... — сказал ему капитан и — Сытову: — Шутить будете, знаете, где?

— Да не пил я! — сказал Сытов удивленно.

— А если подумать? — сказал рыженький.

А Сытов слушал все это, а сам посматривал на нее, как она стояла, слегка приподняв плечи, как бы удивляясь всему, хотя это им вот, которые задают вопросы, следовало бы удивляться, видя этих двоих, полных любви, ни о чем не кричащих, не бьющих ничего...

«Понедельник — день тяжелый», — подумал Сытов, и ему стало вдруг легко и немного безразлично, когда он нагляделся на этих двоих и увидел их ясность и тишину перед суровым миром, который, наверное, должен был быть таким, чтобы стомоксисы всякие спокойно лежали в своем спирту, поджав коленки, а не выплескивались в разные стороны пополам с битым стеклом.

— Это ваше? — спросил капитан у Сытова и указал на гитару.

— Это кифара, — сказал Сытов.

И тут все выяснилось, конечно, потому что два прекрасных молодых таксиста (один в клетчатом пиджаке, другой в фуражечке), жалуясь, рассказали в заявлении, что, просто гуляя себе за городом и желая попасть домой, сели тихо, как все, в электричку, и поехали, и смотрели в окно на наш дорогой подмосковный пейзаж, как вдруг трое хулиганов начали к ним приставать, да еще с кулаками, и вот отчего они, прекрасные молодые водители, выпрыгивали на ходу из поезда с кровавыми физиономиями, где и были схвачены постоянным милиционером, случайно проходившим домой со смены. И теперь им стыдно показаться на своем передовом производстве в таком виде... А три хулигана помчались себе в Москву как ни в чем не бывало, и это в нашей стране, где рабочий класс в большом почете...

И Сытов громко засмеялся и сказал, глядя в хмурое лицо капитана:

— Вот как это устроено! Оказывается, можно все перелистать с другого конца и снова прочитать, и все будет правильно. Вот так книга!

— Какая еще книга? — спросил капитан.

— Он вам наболтает, товарищ капитан, — сказал рыженький торопливо.

А те двое не смеялись. Наверное, такая мысль давно уже была у них, и они не поразились, подумав о ней, как, например, Сытов. Действительно, а почему это он, Сытов, не хулиган? Или этот, в кожанке? Или она, с синими глазами, в помятом зеленом платье, нечесаная?..

— Третий хулиган, — это я, очевидно? — сказала она.

И капитан поджал губы, но спросил:

— В драке участвовали?

— Конечно, участвовала, — сказала она с вызовом, так, что у Сытова сердце ёкнуло и дух захватило.

И вдруг его осенило: почему это у них фамилии разные да еще и адреса?.. Батюшки, да она его любовница, очень просто, а не законная жена!.. А как они стояли рядом перед этим, и рука на плече!..

И Сытов заметил, что она смотрит на него, но как-то отчужденно, словно издалека. «Не узнала, — подумал он, — не вспомнила...»

— Ладно, — сказал капитан, почесывая затылок, — сейчас вернусь. Посидите... — И ушел.

Эти двое тихо переговаривались, о чем, неизвестно. А Сытов прислушивался к слабому звону гитары: она все не могла успокоиться, и на густом фоне басов вызывали тонкие струны, как колокола.

А рыженький уже сник. (Ненадолго его хватило!) Что-то ему привиделось, наверное... Что-то он сообразил, что ли? Он уже кричать позабыл, уже не петушился, а смотрел быстрыми глазами то на Сытова, то на этих двоих, и если они, например, делали какое-нибудь движение, ну, например, он у нее локон на лбу поправлял, то рыженький говорил с широкой улыбкой:

— Может, расческу дать? Удобнее расческой...

Но они ему не отвечали, даже не смотрели в его сторону. Или Сытов, например, наклонялся к гитаре, что-

бы послушать, успокоилась или нет, а он говорил то-ропливо:

— Звонит все еще!.. Как живая...

Но Сытов тоже на него не смотрел. Он сказал этому Сергею:

— Сейчас бы поесть!.. Что-то меня совсем подвело...

— Надеюсь, — сказал Сергей, — скоро эта комедия закончится.

— А вы потерпите, — сказал рыженький по-приятельски, — на войне еще труднее было.

Но на него опять не посмотрели.

И тут снова вошел капитан, и глаза у рыженького забегали: он ждал, что там выяснилось, чтобы знать, как себя в дальнейшем вести...

— Ну вот, — сказал капитан и швырнул на стол бумаги, — все и выяснилось... Вот беда!.. Те двое, которые на вас жалобу писали, сами, оказывается, хулиганы... — И замолчал.

А рыженький глядел на всех счастливыми глазами, а может быть, и в самом деле был счастлив, кто знает...

— Теперь, — сказал капитан, — я должен перед вами извиниться. Вы извините, пожалуйста... У нас работа такая...

— Ну как? — сказал Сергей рыженькому.

— А чего? — сказал тот.

— Вы можете идти, — сказал капитан. — Я вам сейчас справки для работы выпишу... Вы извините, пожалуйста...

— Мы, конечно, пойдем, — сказал Сергей твердо, — но сначала этот гражданин (это на молодого лейтенанта) пусть извинится перед моей спутницей лично.

— Чего?! — крикнул вдруг рыженький нахально.

И гитара загудела на разные голоса от его звонкого неопытного тенора.

— Ну-ну, — сказал капитан устало.

— Да чего мне извиняться? — сказал рыженький потише. — Взял, привел... У меня работа такая... Вы же сами велели.

— Ну-ну, — снова сказал капитан.

— Ну извините, — сказал рыженький этой, с синими глазами. — Извините...

А она стояла под рукой своего Сергея и глядела мимо рыженького, как будто он какой-нибудь стомоксис.

— Все на милицию обижаются, — сказал рыженький и засмеялся.

И гитара зазвенела.

— Зачем же такие слова говорить? — сказал Сытов лейтенанту. — А если вас в пивной ларек торговать поставить, да еще цветочек в руки дать, вы что, лучше станете?..

— Чего?.. — не понял рыженький и быстро взглянул на капитана.

А капитан подошел к Сытову и сказал:

— Вы вот тогда насчет молока сказали, что, мол, молоко пили... Ну зачем?.. Какое еще молоко? Так, чтобы подразнить, да?

— Да пил, пил, — засмеялся Сытов. — Вчера вечером... Вот она сама мне в кружку налила и поднесла. В самом деле. Вот она (на эту, с синими глазами). — И посмотрел на нее и увидел, как у нее глаза вспыхнули, но только на миг, и снова погасли.

«Не вспомнила, — подумал он, — позабыла...»

И они вот так вывалились на площадь.

И снова этот Сергей кивнул Сытову, а она покачала маленькой своей ладонью, и они нырнули в метро...

А кругом гудели машины. И гитара протяжно гудела, согревая Сытову бок. Кифара!

И вдруг он вспомнил Марусю, про которую позабыл, и пока они там стояли, у этого прилавка, весь день и Сергей держал свою руку на плече у этой своей и, наверное, единственной, Сытов-то сам по себе был, ну если гитары не считать...

Потом он долго шел по всем улицам. Ночь уже нахлынула, а он все шел. Дождь полил, а ему хоть бы что. Даже справка в кармане, что никакого прогула не было...

Он долго звонил у дверей, весь промокший и радостный отчего-то. Звонил, звонил, пока мужчина не спросил хрипло:

— Кто там?

— Свои, — сказал Сытов.

— Какие еще свои?

— А где Маруся?

— Уехала Маруся, — сказал голос удивленно.

— Уехала? (А ведь и вправду уехала). Когда?

— Да уж года два будет...

И в самом деле два года... И писем нет.

— А вы кто будете? — спросил голос удивленно.

— Ну Павел это... Сытов... Был такой...

— Был да сплыл, — сказал голос, и цепочка загремела, и все стихло.

А дождь все шел, все сыпал, как тогда, два года назад, когда его, Сытова, еще помнили в этом доме.

— Стомоксис, — засмеялся он, — я весь промоксис... — И пошел с легким сердцем.

Ленинград, 1965 год.

Стихи и песни о войне

*...Шла война, и кровь лилась рекою.
В грозной битве рота погибла.
О природа, ты ж одной морковью,
как Христос, насытить нас смогла!
И наверно,
 уцелела б рота,
если б в тот последний смертный час
ты одной любовью, о природа,
как Христос,
 насытила бы нас!*

ВОЕННЫЙ ПАРАД

Вот трубы медные гремят,
кружится праздничный парад,
за рядом ряд, за рядом ряд
идут в строю солдаты.
Не в силах радость превозмочь,
поёт жена, гордится дочь,
и только мать уходит прочь...
«Куда же ты, куда ты?..»

Ведь боль и смерть и пушек гром —
все это будет лишь потом.
Чего ж печалиться о том,
а, может, обойдется?
Ведь нынче музыка тебе,
трубач играет на трубе,
мундштук трясется на губе,
трясется он, трясется.

ТЕЛЕГРАФ МОЕЙ ДУШИ

Стихло в улицах вранье.
Замерло движенье.
Улетело воронье
на поля сраженья.

Лишь ползут из тишины,
сердце разрывая,
как извозчики войны,
красные трамваи.

Надеваю шинель —
главную одежду,

понимаю сильней
всякую надежду.

Замирает в тиши
чуткий, голосистый
телеграф моей души:
нет телеграфиста.

Он несет свой синий кант
по сраженьям грозным.
Он уже прописан там.
Там с пропиской просто.

Южный фронт. Бельэтаж.
У конца дороги.
От угла — второй блиндаж...
Вытирайте ноги!

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не спрашиваю.
Так вот она — передовая!
В ней ничего нет страшного.

Трава не выжжена,
лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звенят комары.

Звенят, звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

а что, если кто-нибудь
в том сне побывал?
А что, если видели,
как я
воевал?

ТАМАНЬ

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами — в песок,
к волне — головой.

Грязная волна наползет едва —
приподнимается слегка голова;
вспять волну пролив отнесет —
ткнется устало голова
в песок.

Эй, волна!

Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...

Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь
смотреть.
Скоро ли — не скоро, на том ли
берегу
я впервые выстрелил
на бегу.

Отучило время
от доброты:

как счастлив я за землю мою
умереть!

...А пока в атаку не сигналила медь,
не мешай, товарищ,
песню допеть.

Пусть хоть что судьбой
напророчится:
хоть славная смерть,
хоть геройская смерть —
умирать
все равно, брат,
не хочется.

АНГЕЛЫ

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
и неотступная тоска
бредет за нами вслед.

Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что — ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску — яблоки.

На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
и я забыл слова.

Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
А яблочки моченые
катились прямо в снег...

* * *

Ах, война, что ж ты сделала, подлая!
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры.
На дороге едва помаячили
и ушли — за солдатом солдат...
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад!
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат,
и себя не щадите, и все-таки

постарайтесь вернуться назад!
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала!
Вместо свадеб — разлуки и дым.
Наши девочки платица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься!
Да зеленые крылья погон!..
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
мы сведем с ними счеты потом!
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад!

ЛЕНЬКА КОРОЛЕВ

Во дворе, где каждый вечер всё играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье Короля.

Был Король, как король, всемогущ, и если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку и спасет.

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону,
набекрень и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь.

Потому что тот Король был один, — уж извините,
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота,
по делам или так, погулять,
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и, правда, стреляют,
не для Леньки сырая земля,
потому что, виноват, но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

* * *

Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя,
песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах,
хрустели...
А мы шинели рваные расстелем —
и ну жевать.

Такие сухари!

Их десять лет сушили,
не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало,
их в воде размочим —
и ну жевать,
и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
(Пируем — и солдаты и начальство...)
А пули?

Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать, —
война.

О ВОЙНЕ

Вы слышите, грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите, грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней!
Уходит взвод в туман, туман, туман...
А прошлое ясней, ясней, ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, должно быть, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут...

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
а в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье.
А по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком — сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки,
в затылки наши круглые глядят...

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач
отбой сыграет,
когда трубу к губам приблизит и острый
локоть отведет.
Надежда, я останусь цел: не для меня земля
сырая,
а для меня — твои тревоги и добрый мир
твоих забот.

Но если целый век пройдет и ты надеяться
устанешь,
Надежда, если надо мною смерть развернет
свои крыла,
ты прикажи, пускай тогда трубач израненный
привстанет,
чтобы последняя граната меня прикончить
не смогла.

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься
не удастся,
какое новое сражение ни покачнуло б шар
земной,
я все равно паду на той, на той далекой,
на Гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах склонятся
молча надо мной.

ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой — спасения нет.
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.

*

Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи.
У жизни со смертью
еще не окончены счеты свои.

*

Нас время учило:
живи по-привальному, дверь отворя.
Товарищ мужчина,
а всё же заманчива доля твоя:
всегда ты в походе,
и только одно отрывает от сна —
зачем мы уходим,
когда над землею бушует весна?

ОДНА МОРКОВЬ С ЗАБРОШЕННОГО ОГОРОДА

Мы сидим. Пехотные ребята.
Позади — разрушенная хата.
Медленно война уходит вспять.
Командир приказывает спать.
И тогда, откуда неизвестно,
может, голод мой тому виной,
словно одинокая невеста
выросла она передо мной!
Я киваю головой соседям:
на сто ртов — одна морковь
пустяк...

Спим мы или бредим?
Спим иль бредим?
Веточки ли в пламени хрустят?

...Кровь густая капает из свёклы,
лук срывает бранный свой наряд,
десять пальцев, словно десять свёкров,
над одной морковинкой стоят...
Впрочем, ничего мы не варили,
свёкла не алела, лук не пах.
Мы морковь по-братски разделили,
и она кричала на зубах...

Шла война, и кровь лилась рекою.
В грозной битве рота полегла.
О природа, ты ж одной морковью,
как Христос, насытить нас смогла!
И наверно,
уцелела б рота,
если б в тот последний смертный час
ты одной любовью, о природа,
как Христос,
насытила бы нас!

В южном прифронтóвом городе
на рынке
торговали цыганки

развесной синькой.
Торговали цыганки, нараспев голосили:
«Синяя синька! Лиля-лиля!»

С прибаутками торговали цыганки
на пустом рынке
в рядах пустых.

А черные мужья крутили сигарки,
и пальцы шевелились в бородах густых.

А жители от смерти щели копали:
Синьку веселую они не покупали.

Было вдоволь у них синевы под глазами,
синего мрака погребов

наказанья,
синего инея по утрам на подушках,
синей золы в печурках потухших.

И все же не хватало
синего-синего,
как матери — сына,
как каравая сытного.

А синька была
цвета синего неба,
которого давно
у них не было, не было.

И потому, наверное,
на пустом рынке,
пестрые юбки на ветру кружа,
торговали цыганки
(чудеса!) синькой.

Довоенной роскошью.
Без барыша.

ВОБЛА

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.

...Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.

И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикасалась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какую крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.

А когда-то кружок звон, как звон
наковален,
как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.

...Пятеро голодных сыновей и дочек.
Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек —
по сухому кусочку в сухую ладонь.

Нас покачивало военным ветром,
и, наверное,
потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстречу спасению
моему.

ЧЕТЫРЕ ГОДА

Четвертый год подряд
война — твой дом, солдат.
Но хватит, отгудела непогода.
Есть дом другой,
там ждут и там не спят
четыре года, четыре года.

И словно годы — дни.
А там, в окне — огни
горят, не позабытые в походах.
Когда б вам знать,
как мне нужны они
четыре года, четыре года.

Когда кругом темно,
светлей твое окно.
Пора, пора, усталая пехота.
Есть много слов,
но я храню одно
четыре года, четыре года.

ПОДМОСКОВЬЕ

Подмосковье, подмосковье,
ты прохладное дно морское,
кладовая синего света.
Где-то там,
над тобою где-то,
пекло
горькое городское,
лето
переспелого цвета...
Как мне помнится это лето!

Провожанье, провожанье —
тонких стекол в ночи
дрожанье,
два луча голубых
над крышей...
На плече у солдата —
скатка,
он тревожных гудков
не слышит —
все целует свою солдатку...
Все целует ее, целует,
у войны минуты ворует.

Подмосковье, подмосковье
провожило меня с тоскою,
а встречало — просило страстно:
«Здравствуй!
Только больше не странствуй...»

А леса
как закружатся сами
перед глазами
зелеными небесами...

А голоса
ночных электричек
то проплачут,
а то прокличут...

А роса
вдруг покатится слезой
голубою...

Подмосковье,
что мне делать с твоей
любовью?

* * *

Не верь войне, мальчишка,
не верь, она грустна,
она грустна, мальчишка,
как сапоги тесна.

Твои лихие кони
не смогут ничего,
ты весь, как на ладони,
все пули — в одного.

* * *

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала «Беломора» три пачки и в тряпочке соль.

И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
«Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь».

И видит король — его войско стоит среди двора.
Пять грустных солдат, пять весёлых солдат и ефрейтор.
Сказал им король: «Не страшны нам ни пресса, ни ветер.
Врага мы побьем и с победой придем, и ура!»

Но вот отгремело победных речей торжество.
В походе король свою армию переименовал:
весёлых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах — «Авось ничего».

Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной.
Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.

Играйте, оркестры, звучите и песни и смех.
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых
оставаться,
и пряников, кстати, никак не хватило б на всех.

* * *

Возьму шинель и вещмешок и каску,
в защитную окрашенные краску,
ударю шаг по улочкам горбатым, —
как просто стать солдатом, солдатом!..

Забуду все домашние заботы,
не нужно ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом, —
как просто быть солдатом, солдатом!

А если что не так — не наше дело.
Как говорится, — «Родина велела!»
Как славно быть ни в чем не виноватым,
совсем простым солдатом, солдатом!

ЭТО СЛУЧИТСЯ

Это случится, случится,
этого не миновать:
вскрикнут над городом птицы,
будут оркестры играть,

станет прозрачнее воздух,
пушек забудется гам,
и пограничное войско
с песней уйдет по домам.
Это случится, случится —
верю: расплавят броню...
Не забывайте учиться
этому нужному дню!

* * *

Анатолию Рыбакову

Не помню зла, обид не помню, ни громких слов, ни
малых дел;
того, что я успел увидеть, того, чего не доглядел.
Я все забыл, как днище выбил из бочки века своего.
Я выжил. Я из пекла вышел. Там не оставил ничего.
Теперь живу посередине между войной и тишиной,
грехи приписываю Богу, а доблести — лишь ей одной.
Я не оставил там ни боли, ни пепла, ни следов сапог,
и только глаз мой карий-карий блуждает там, как
светлячок.
Но в озарении зеленом, в сиянье вещем светляка
счастливые слепые люди мне чудятся издалека,
высокий хор поет с улыбкой, земля от выстрелов
дрожит.
Сержант Петров, поджав коленки, как новорожденный
лежит.

Ленинград, июнь 1965

*Стихи и песни
о жизни и людях*

*...Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.*

ЧЕЛОВЕК

Дышит воздухом, дышит первой травой,
камышом, пока он колышется,
всякой песенкой, пока она слышится,
теплой женской ладонью под головой.
Дышит, дышит — никак не надышится.

Дышит матерью —
она у него одна,
дышит родиной —
она у него единственная,
плачет, мучается, смеется, посвистывает,
и молчит у окна, и поет дотемна,
и влюбленно
недолгий свой век перелистывает.

* * *

Мгновенно слово.
Короток век.
Где ж уместается человек?
Как и когда и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке
поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?
Осколок выплеснет его кровь:

«Вот тебе за твою любовь!»
Пощечины перепадут в раю:
«Вот тебе за любовь твою!»...
И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке
 поцелуев и драк,
в славословии
 и гульбе
выбрать только любовь себе!

* * *

Памяти отца

Много ли нужно человеку,
идущему по земле?
Веселая дорога, брод через реку,
да картофель
 в неостывшей золе,
да ночного леса упрямый
 рокот,
да совиный окрик:
 «Холодей!»
Я ходил газетчиком
 по всяким дорогам,
я встречал всяких
 людей.
И бывало:
 огонек сквозь ставни,
молчаливое напутствие
 чьего-то лица.
«До свиданья, хозяйка»...
 И идешь, странник,
и нет твоей дороге
 конца.

А с тобою за калитку тянется,
за околицу —
далеко-далеко —
женское распевное
«до свиданьица»,
теплое,
как парное молоко.
Вот пойдет оно с тобой
сквозь ельник колкий,
завьется, как в половодье
ручей,
то почудится на гостиничной койке,
то согреет на попутном
лихаче.
Все пройдет, а оно останется,
все утихнет, а оно —
нет...
«До свиданьица,
до свиданьица» —
до конца твоих лет
вослед.

* * *

Десять тысяч дорог, и тревог, и морок пережить
лишь затем, чтоб потом вещмешок на порог положить,
лишь затем, чтоб потом башмаки от росы отряхнуть,
чтобы дверь распахнуть и вздохнуть, и опять в дальний
путь.

Ты устал, человек. Век короткий — дорога длинна.
Тишина и война, и опять — тишина и война.

И опять ты шагнул через пыль, через боль, через
смерть...
Ты красив, человек!
Это надо ж такое суметь!

* * *

Человек стремится в простоту,
как небесный камень — в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю версту
нехотя взирает.
Но во глубине его очей
будто бы — во глубине ночей
что-то назревает.

Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность,
словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.

Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.

ГОЛУБОЙ ЧЕЛОВЕК

Голубой человек в перчатках,
в красной шалочке смешной
поднимается по лестнице,
говорит: — Иду домой.

Вот до верха он добрался,
вот — под крышею самой,
но упрямо лезет выше,
говорит: — Иду домой.

Вот — ни крыши и ни лестниц.
Он у неба на виду.
Ты куда, куда, несчастный?! —
Говорит: — Домой иду... —
Вот растаяло и небо —
мирозданья тишь да мрак,
ничего почти не видно,
и земля-то вся — с кулак.

— Сумасшедший, вон твой дом!
— Где мой дом?
— Да вон твой дом!.. —
Шар земной совсем уж крошечный —
различается с трудом.

— Эй, заблудишься, заблудишься!
Далеко ли до беды?.. —
Он карабкается, бормочет:
— Не порите ерунды!..

* * *

Сыпь, вечер, звезды.

Сыпь.

На волосы, на губы и на плечи.
Тому, кто громом буден сыт,
нужнее вечер.

И мы позабываем обо всем,
едва лишь хлопья звезд повалят с неба.

Вот почему мой город, словно снегом,
бывает тишиною занесен.
Потом снег тает. Каждый — снова
путник —
несет земле своей кто чем богат...
Все так устроено. Не наугад.
И тишина влетает прямо в будни.
Так день заманивает тишину,
и он ее крылом своим — на части...
И мы идем за ними. Как в плену.
За буднями.
И в этом — наше счастье.

ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.

И если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.

И, уходя в ночной тиши,
без лишних слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
и мягкой — скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
замку цена — копейка!

ВРЕМЯ

Кот бережет минуту,
пес бережет года,
бронзовый лев в карауле
бодрствует всегда.

Звери

даже мгновений
не отдают никому...
Только мы изменяем
времени своему.

Ловкие транжиры
с палочками в руках.
Время для нас — что деньги
в чужих

кошельках.

Время для нас — что звезды,
падающие

по ночам...

«Стоит ли волноваться,
друг мой,

по мелочам?..»

Но время все же уходит.

Я спрашиваю у вас:

куда уходит минута?

Куда уходит час?

Куда уходят сутки?

Куда уходят дни?

За каким

поворотом

скрываются вдруг они?

Куда наконец уходит
каждый прожитый год?

И неужели ни разу
снова к нам не зайдет,

ну для того хотя бы,
чтоб, помешав нам спать,
о том,
 что мы позабыли,
строго напомнить
 опять?..

* * *

Мы стоим — крестами руки —
безутешны и горды,
на окраине разлуки,
у околицы беды,
где, размеренный и липкий,
неподкупен ход часов,
и улыбки, как калитки,
запираем на засов.
Наступает час расплаты,
подступает к горлу срок...
Ненадежно мы распяты
на крестах своих дорог.

* * *

А как первая любовь — она сердце жжёт,
а вторая любовь — она к первой льнёт,
ну, а третья любовь — ключ дрожит в замке,
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.

А как первая война — да ничья вина,
а вторая война — чья-нибудь вина,
а как третья война — лишь моя вина,
а моя вина — она всем видна.

А как первый обман — на заре туман,
а второй обман — закачался пьян,
а как третий обман — он ночи темней,
он ночи темней, он войны страшной.

* * *

А ты, шарик голубой,
грустная планета!
Что ж мы делаем с тобой?
Для чего всё это?
Все мы топчемся в крови,
а ведь мы могли бы...

Реки, полные любви,
по тебе текли бы!

* * *

Девочка плачет — шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет — жениха всё нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет — муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка — мало пожила.
А шарик вернулся, а он голубой...

и война приходила,
и она в свои трубы
кричала,
и тогда
не по росту шинелишки
напяливали пешеходы,
не отвыкнув еще
от домашних скорбей и болей...
Но в поля выходила
и насмерть стояла
пехота —
царица полей.
...Ну, а мы?
Нам ведь тоже,
чтобы небо — всегда голубое!
Всё мы выстроим,
выстоим,
долгой молодости
обучим детей,
и не за медяки,
не за почести —
просто так:
по любви,
по земной по своей
высоте.

* * *

Ходьба — длинноногое чудо дорог —
дала мне такое имущество:
«Бери сто морок,
позабудь свой мирок,
иди, простофиля,
помучайся».



В саду Нескучном тишина.
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут Дорога. . .
Какая дальняя она!

ДОРОГА

Дорога начиналась от порога.
Из жактовской лиловой тесноты
текла она, высокая дорога,
с которою мы не были на «ты».

А будни нас кормили калачами,
а женщины корили по ночам,
чтоб мы дороги той не замечали,
не тратили себя по мелочам.

Как хлопьев снега грустных слов
навалят,
но чемодана щелкнет вдруг латунь,
и упадет билет в твою ладонь,
компостером простреленный навывлет.

Пока ночная птица не молчит,
прощайте же! Пока рассвет синеет,
прощайте же! Знать, что-то есть
сильнее,
чем сбитые на сливках калачи.

* * *

Когда мы уходим
(хоть в дождь, хоть в сушь),
у ворот стоят наши матери —
первооткрыватели наших душ,
как материков
открыватели.

А сердца матерей горят кострами.
(Те костры в расставании жгут.)
Ах, сердца, вы сердца — родимые
страны,
где нас непременно ждут,
где мы якоря свои бросили,
и куда б нас чудеса ни завели,
все равно в те страны по осени
улетают
наши журавли.

* * *

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!

И муравья тогда покой покинул,
всё показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то
мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.

Всё позабыв — и радости и муки,
он двери распахнул в свое жилище
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки её.

И тени их качались на пороге.
Безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.

СВЕТ В ОКНЕ

Кружатся тени, кружатся тени.
Они — как бабочки в тишине.
Чернеют стены ночных строений,
и только тени в ночном окне.

Кружатся тени
за занавеской
то врозь, то снова — совсем одно,
плечо мужское и профиль женский —
как два актера в немом кино.

На фоне спящего, городского,
всему обычному вопреки
так четок профиль лица мужского,
так плавен контур ее руки.

С утра обычно в дела и будни
уйдут, похожи на всех других,
а тут,
как будто муссон попутный,
струится в их парусах тугих.

Две тени кружатся, крылья сливши,
к неведомым берегам

гребя...

Который век, никому не слышны,
играют тени самих себя!

И в белом свете, в окно идущем
и опечатавшем их жилье,
они как будто живые души,
которым нужно сказать свое.

То руки тонкие воздевают,
то вдруг взлетают на свет утра,
то неподвижные замирают,
как два кочевника, — у костра.

г. Тбилиси,

1964

* * *

Ты течешь, как река, странное название,
и прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат мой, Арбат, ты — мое призвание,
ты и радость моя и моя беда.

Пешеходы твои — люди не великие,
каблуками стучат, по делам спешат.
Ах, Арбат мой, Арбат, ты — моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат мой, Арбат, ты — мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя.

ЧАЕПИТЬЕ

Начинается чаепитье.
Поднимая чашки свои,
хлещут красные черепицы
от зари голубые чай.

Эта мартовская работа
все меняет за пять минут:
голубые капельки пота
по оконным стеклам бегут.

Птицы первые распевают.
Рушь, погода, сугробы! Рушь!
Слышно — новые поспевают
самовары солнца и луж.

Пей, земля! Мостовые, пейте!
Пейте сладкое то питье.
Вам на белом весеннем свете
без того питья не житье.

И, усталый, больной и хрупкий,
оседает снег на заре.
Поднимайте чашки и кружки!
Чаепитье у нас на дворе!

ПЕСЕНКА ОБ АРБАТСКИХ РЕБЯТАХ

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,
когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены в полночный московский
уют,
где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раз-
дают.

По-моему, всё распрекрасно, и нет для печали причин,
и грустные те комиссары идут по Москве, как один,
и нету и нету погибших среди старых арбатских ребят,
лишь те, кому нужно, уснули,
но те, кому нужно, не спят.

Пусть память — нелегкая служба, но всё повидала Мос-
ква,
и старым арбатским ребятам смешны утешений слова.

АИСТЫ

Вот вам, пожалуйста,
первые краски заката.
Вечного аиста
белые перья над хатой.

Старой пословицы,
словно хранящие цену:
всё, мол, изменится,
были бы аисты
целы.

С неба ли звездного
в окна крадутся потемки?
Чем там до позднего
заняты в этой хатенке?

Редко ли,
часто ли,
вправду ль о виденном судят?
Крепко ли счастливы,
вовремя ль молоды
люди?

Спросишь о прожитом,
глянешь в глаза через силу:
что, мол, встревожены?
Аиста, мол, не хватило.

Как, мол, без аиста?
Вот и бедуешь в жилище,
и спотыкаешься,
и виноватого ищешь...

Речь не о старости.
Это совсем про другое...
Были бы аисты
белые
над
головою.

КАРАВАЙ

Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душной глубине
прищуренные глазки каравая,
когда он сам с собой наедине?

Когда проснуться не хватает мочи,
когда румяный бок, как край зари...
О чем он думает?

О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?

А в нем живут сгоревшие поленья,
бессонная усталость мастеров,
он, как последнее
стихотворенье,
и добр,
и откровенен,
и суров.

И задыхается на белом блюде
от радости рожденья своего.
И маленькие-маленькие люди
по ломтику уносят от него.

КАРТИНА

Нацеленный глаз одинокого лося,
рога — в серебре и копыта — в росе.
А красный автобус вдоль синего леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим!
Двугорбых снопов молодые верблюды
упрямо и молча шагают за ним.

Шагают столбы по-медвежьи,
в раскачку,
друг друга, как кони, ведут в поводах.
И птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.

А лес раскрывает навстречу ворота,
а ветки ладонями бьют по лицу,
кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной
в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий...
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой
дороге
у синего леса, у черной реки.

НОЧЬ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ

Гулкой ночью почти что осенней
цвел костер у дороги шоссеиной.

Рядом женщины молча сидели,
на веселое пламя глядели.

И лежали серпы в отдаленьи,
словно спали, поджавши колени.

Ничего необычного в этом —
просто полночь прощания с летом.

Но кричала какая-то птица:
«Ох, не спится... не спится...
не спится...»

СКАЗКА

Ничего смешного,
ничего нелепого,
ничего такого
вовсе и не было.

Просто вышла женщина
на арбатский двор,
где белье развешено
с давних пор.

Просто так губами
шевелила —
с кем-нибудь, должно быть,
говорила.

Мы тоже гуляли
среди дворовых стен,
мы долго гадали:
а с кем она, с кем?

А она белье развешивала,
нас не звала,
красивая женщина
с тесного двора.

А двор наш арбатский
совсем не велик.
А двор наш арбатский
капелью залит.

А она все ходит,
губами шевелит,
словно позабыть про себя
не велит.

Все ты мечешься день-деньской.
Все ты мечешься день-деньской
по смешной привычке своей городской,
по смешной привычке своей городской...

Руки протягиваешь, словно я Бог,
среди стен четырех маешься,
а что я могу, если Бог не смог
тебя сотворить понимающей?

Цвет голубой — у тебя под рукой.
Цвет голубой — у тебя под рукой.
А тебе почему-то нужен другой.
А тебе почему-то нужен другой...

Как в старой считалочке детских лет,
губы обидные выпятив:
«Выпади мне цвет, которого нет,
самый счастливый выпади!»

А над крышей резной твоего гнезда,
а над крышей резной твоего гнезда
мечется голубая звезда,
мечется голубая звезда...

Руки заламывает, подражает
сестрам своим отпрыгавшим...
А осенью звезды дорожают —
лови ее, глупую, в пригоршни.

Ты повесь ее под своим потолком,
ты повесь ее под своим потолком
потухающим голубым угольком,
потухающим голубым угольком...

Ведь осенью звезды дорожают,
попробуй заработать горбом...

Глупые мы все же, горожане:
ни черта не смыслим в голубом.

ТРАМВАИ

Москва все строится, торопится.
И, выкатив свои глаза,
трамваи красные сторонятся,
как лошади — когда гроза.

Они сдают свой мир без жалобы.
А просто: будьте так добры!
И сходят с рельс.

И, словно жаворонки,
влетают в старые дворы.

И, пряча что-то дилижансовое,
сворачивают у моста,
как с папиросы
искры сбрасывая,
туда, где старая Москва,

откуда им уже не вылезти,
не выползти на белый свет,
где старые грохочут вывески,
как полоумные, им вслед.

В те переулочки заученные,
где рыжая по крышам жесть,
в которых что-то есть задумчивое
и что-то крендельное есть.



Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
— Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий, одинокий?
— Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и крупнее и добрее.
Мама, мама, это я дежурю,
я — дежурный по апрелю...

— Мой сыночек, вспоминаю всё, что было:
стали грустными глаза твои, сыночек.
Может быть, она тебя забыла?
Знать не хочет? Знать не хочет?..

— Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и крупнее и добрее.
Что ты, мама! Просто я дежурю.
Я — дежурный по апрелю.



Когда затихают оркестры Земли
и все музыканты ложатся в постели,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка —
смешной, отставной, одноногий солдат.

Представьте себе:

от ворот до ворот,
в ночи наши жесткие души тревожа,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка,
когда затихают оркестры Земли.

Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поешь!
Шарманка-шарлатанка, куда меня зовешь?
Шагаю еле-еле: вершок за пять минут.
Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут?

Работа есть работа. Работа есть всегда.
Хватило б только пота на все мои года.
Расплата за ошибки — она, ведь, тоже труд.
Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют!

МОСКОВСКИЙ МУРАВЕЙ

Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы,
По этим древним площадям, по голубым торцам,
Мой город носит высший чин и звание Москвы,
Но он навстречу всем гостям всегда выходит сам.

Иду по улицам его в рассветной тишине,
Бегу по улицам кривым (простите, городá)...
Но я — московский муравей, и нет покоя мне,
Так было триста лет назад и будет так всегда.

Ах, этот город, он такой, похожий на меня:
То грустен он, то весел он, но он всегда высок...
Что там за девочка в руке несет кусочек дня,
Как будто завтрак в узелке мне, муравью, несет?

Продолжается музыка возле меня.

Я играть не умею.

Я слушаю только.

Вот тарелки, серебряным звоном звеня,
на большом барабана качаются тонко.

Вот валторны

восторженно

в пальцы вплелись.

Вот фаготы с каких-то высот пролились,
и тромбонів трудна тарабарская речь,
две вертлявые скрипки идут на прогулку
между мной и кулисами

по переулку,

не сходя с музыкантских мозолистых плеч...

Все известно!

Нельзя ли чего поновей?

Не смычком — по струне, например,

а струною —

по стене, например...

Или чтоб за стеною

вдруг старательно старый запел соловей...

Соловей?..

А нельзя ли чего поновей?

ПЯТАК

Бывает так, бывает так:
лежит на улице пятак,
едва-едва заметный
простой кружочек медный.

А человек... Да, человек!
внезапно остановит бег
и до земли поклонится,
как будто переломится.

ФОТОГРАФИИ ДРУЗЕЙ

Деньги тратятся и рвутся,
забываются слова,
приминается трава,
только лица остаются
и знакомые глаза...
Плачут ли они, смеются —
не слышны их голоса.

Льются с этих фотографий
океаны биографий,
жизнь в которых вся, до дна,
с нашей переплетена.

И не муки и не слезы
остаются на виду,
и не зависть и беду
выражают эти позы,
не случайный интерес
и не сожаленья снова...

Свет — и ничего другого,
век — и никаких чудес.
Мы живых их обнимаем,
любим их и пьем за них...

...только жаль, что понимаем
с опозданием на миг!

СТИХИ,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КРАТКИМ РУКОВОДСТВОМ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУГАЧОМ

...Когда почувствуешь недомоганье вдруг,
купи пугач

в отделе игр,
мой друг.

Стрельни налево,
и стрельни направо,
и в стол швырни.

Недолгая забава.
И жизнь идет. И свет сменяет темь.
Все прежнее вокруг.

А между тем
как будто выраженье глаз иное,
и темечко все как-то странно ноет.
Представь себе:

случилось так, что ты
вдруг отупел от слов и суеты
и наступила главная проверка,
как в ателье — последняя примерка.
И ты берешь пугач (к нему привык),
к виску подносишь — он к виску приник,
смеешься ты:

ведь он не убивает...

Но в принципе все точно так бывает:
его — к виску, а он к виску приник,
вся жизнь прошла за краткий этот миг,
все вспомнилось, что не было и было...
И темечко

как бы к дождю заныло.

Затем обратно в стол его швырни:
он пригодится на другие дни.
Тебя холодный этот душ окатит —
на день-другой, глядишь, его и хватит.
Купи пугач, купи!

Тебе не в труд.

Он безопасен.

С ним не заберут.

Побалагуришь —

и пройдет тоска...

...Всё пугачи мы держим у виска!

ДОРОЖНАЯ ФАНТАЗИЯ

Таксомоторная кибитка,
трясущаяся от избытка
былых ранений и заслуг,
по сопкам ткет за кругом круг.
Миную я глухие реки,
и на каком-то там ночлеге
мне чудится

(хотя и слаб)

переселенческой телеги
скрип,

и коней усталый храп,
и мягкий стук тигриных лап,
напрягшихся в лихом набеге,
и крик степи о человеке,
и вдруг на океанском бреге —
краб,

распластавшийся как раб...
С фантазиями нету сладу:
я вижу, как в чужом раю,
перемахнув через ограду,
отыскивая дичь свою,
под носом у слепой двустволки
малиновые бродят волки...
Я их сквозь полночь узнаю.
А сторож-то! Со сторожихой
семидесятилетней, тихой!
Они под жар печной — бока,

пока созревшей облепихой
дурманит их издалека,
пока им дышится,
пока
им любопытны сны и толки,
пока еще слышны им волки,
и августа мягка рука,
пока кленовый лист узорный
им выпадает на двоих...
Вот так я представляю их,
случайный бог таксомоторный,
невыспавшийся, тощий, черный,
с дорожных облаков своих.

ПЕРВЫЙ ГВОЗДЬ

Города начинаются с фунта гвоздей.
Первый гвоздь всех собратьев дороже.
А потом уж пора новоселий, гостей...
Каждый гость дорогой — в макинтоше.
А потом первый дом обмываем — поем,
Умиляется гость, тяжелеет...
Первый гвоздь в первой свае ржавеет,
мы пьем,
он ржавеет,
мы пьем,
он ржавеет.

* * *

Ночь белая. Спят взрослые, как дети.
Ночь белая. Ее бесшумен шаг.
Лишь дворники кружатся по планете
и о планету метлами шуршат.

ПЕСЕНКА О ФОНТАНКЕ

По Фонтанке,
по Фонтанке,
по Фонтанке
лодки белые холеные плывут.
На Фонтанке,
на Фонтанке,
на Фонтанке
ленинградцы удивленные живут.

От войны еще красуются плакаты,
и погибших еще снятся голоса.
Но давно уж — ни осады, ни блокады, —
только ваши удивленные глаза.

Я — приезжий.

Скромно стану в отдаленьи.

Слов красивых и напрасных не скажу:
что я знаю?..

Лишь на ваше удивленье
удивленными глазами погляжу.

* * *

А. Ш.

Нева Петровна, возьмё вас всё львы.
Они вас охраняют молчаливо...
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы — первая. Я чувствую, что — вы.

Послушайте,

не ускоряйте бег,

банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины,
я знаю: вас великие любили,
а вы не разбирались,
кто велик.

Бывало,
вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы — рысцой за вами
и ваших глаз запоминают
свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь
в их океане синем
таким счастливым, ласковым
и сильным...

Так отчего, скажите, ваша грусть?

Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Я видел удивительную, красную, огромную луну,
подобную предпраздничному первому помятому блину,
а может быть, подобную ночному комару, что в свой
легко взлетел в простор с лесных болот.

Она над Ленинградом очень медленно плыла.
Так корабли плывут без капитанов
медленно...
Но что-то бледное мне виделось
сквозь медное
покрытие
ее высокого чела.

Под ней покоилось в ночи пространство невское,
и слышалась лишь переключка
площадей пустых...
И что-то женское мне чудилось
сквозь резкое
слияние ее бровей густых.

Как будто гаснувший фонарь,
она качалась в бездне синей,
туда-сюда
над Петропавловкой скользя...

Но в том ее огне
казались мне
мои друзья
еще надежней и еще красивей.

Я вслушиваюсь:
это
их каблуки отчетливо стучат...
и словно невская волна
на миг взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал,
что на прощание кричат.
Как будто сам себе
я прокричал
все это.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗЫКА

Пока еще звезды последние не
отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели,
сойдите к дворам,
туда,
где дрова, словно крылья
лесной акварели...
И тихая скрипка Растрелли
послышится вам.
Неправда, неправда, всё враки,
что будто бы старят
старанья и годы!
Едва вы окажетесь тут,
как в колокола
купола золотые ударят,
колонны
горластые трубы свои задерут.
Веселую полночь люби, да на утро
надейся...
Когда ни грехов и ни горестей
не отмолить,
танцуя,
игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб сонную
кровь отворить.
О, вовсе не ради парада, не ради
награды,
а только для нас,
выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита,
кларнеты ограды
свистят менуэты...
И улица Росси поет.

ТБИЛИСИ

Тбилиси утром голову подымет
и сладкий сон пугнет от карих глаз,
и жители запляшут в раннем дыме
и вскрикнут, торопясь:

«Который час?!...»

И чайных ложек целые оркестры
ударят разом, тишину круша...
Все — музыканты.

Он один — маэстро.

Ему не полагается —

спеша.

Пускай они спешат. Пускай надежды
хватают, как одежды, не дошив...

Он будет азиатом,

как и прежде...

Спешат невежды.

Он — нетороплив.

Он дверь прикроет, хлопнет по карманам,
туманом увлажнит свои глаза,
к престранным тяготеющий романам,
он будет зорок,

вдоль домов скользя.

Пока они хлопочут, как придется,
он будет их считать по одному,
чтоб здания, что разбрелись, как овцы,
согнать скорее к стаду своему.

И долго, как над нардами сутулясь,
он будет сам,

пока ему с руки,

распутывать хитросплетенья улиц
и душных переулков узелки.

И вот тогда (сто раз увидев это)

о, может быть, и сам я стану вновь
сентиментален,

как его рассветы,

и откровенен,

как его любовь.

ЖИТЕЛЬ ХЕВСУРЕТИИ И БЕЛЫЙ КОРАБЛЬ

Агафон Ардезиани, где ж твоя чоха?
Пьешь кефир в кафе, и кофе
пьешь,
и вновь — работа...
А затея на бумаге, как строка стиха,
так строга и так тиха
под каплями пота.

Ты корабль рисуешь белый,
грубый человек,
ты проводишь кистью белой по бумаге белой.
Час проходит, как мгновенье,
два мгновенья — век,
каждый взмах руки и кисти стоит жизни
целой.

Горец бредит кораблями:
руки — в якорях.
Тянет тиною от пашен, песен и подушек.
Ходит в булочниках лекарь,
пекарь — в токарях.
Сто дорог с собою кличут —
одна из них душит.

Белый-белый, как береза, борт у корабля,
белый, как перо у чайки. Он воды коснется...
Чей-то сын веселый утром встанет у руля:
«Ты прощай, земля!..» — и рыба
под волной проснется.

Сядет твой отец убитый в тот корабль живой.
Капитан команду вскрикнет. И на утре раннем
побегут барашки белые
над самой головой
вслед надеждам,
вслед тревогам,
вслед воспоминаньям...

ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Вдруг возник осенний вечер,
и на землю он упал.
Красный ястреб в красных листьях,
словно в краске, утопал.
Были листья странно скроены,
похожие на лица.
Сумасшедшие закройщики кроили
эти листья.
Озорные, заводные посшивали их
швеи...
Листья падали
на палевые
пальчики
свои.
Называлось это просто: облетевшая
листва.
С ней случалось это часто
по традиции по давней.
Было поровну и в меру в ней улыбки
и страданья,
торжества и увяданья,
колдовства и мастерства.
А у самого порога, где кончается
дорога,
веселился и кружился, и плясал
хмельной немного
лист осенний,
лист багряный,
лист с нелепою резьбой
в час, когда печальный ястреб
вылетает на разбой.

ПОСЛЕДНИЙ МАНГАЛ

*Тамазу Чиладзе
Джансугу Чарквиани*

Когда под хохот Куры и сплетни,
в холодной выпачканный золе,
вдруг закричал мангал последний,
что он — последний на всей земле,
мы все тогда над Курой сидели
и мясо сдабривали вином,
и два поэта в обнимку пели
о трудном счастье, о жестяном.
А тот мангал, словно пес — на запах
орехов, зелени, бастурмы,
качаясь, шел на железных лапах
к столу, за которым сидели мы.
И я клянусь вам, что я увидел,
как он в усердьи своем простом,
как пес, которого мир обидел,
присел, вильнув жестяным хвостом.
Пропахший зеленью, как духами,
и шашлыками еще лютей,
он, словно свергнутый бог,
в духане
с надеждой слушал слова людей...
...Поэты плакали. Я смеялся.
Стакан покачивался
в руке,
и современно шипело мясо
на электрическом
очаге.

ЯНВАРЬ В ОДЕССЕ

В Одессе был густой мороз,
тревожный и трескучий,
и замерзали капли слез,
и замерзали тучи.
И город был почти «готов»,
снег падал без предела. . .
Но вдруг у кромки синих льдов
возникла каравелла.
Кораблик типа скорлупы
от грецкого ореха,
без ресторана, без трубы.
Умрешь на нем от смеха.
Откуда Бог его принес,
по-своему чужаца? . . .
Но с мачты прокричал матрос:
— Земля! . . . —

смеясь и плача.

Он зубы скалил в тишине,
спасению дивился,
по бронзовой его спине
горячий пот струился.
И город вышел на мороз,
толпа в ладони била:
ведь кто-то что-то произнес,
и что-то в этом было!
Смешались дети, старики,
смешались все одежды.
— Земля! . . . —

кричали остряки

одесские

с надеждой.

— Земля! —

и, к пристани валя,
хватали снег руками. . .

Воистину
была земля
у них под каблуками.

Таким я город повстречал,
и, радости не пряча,
я сам кричал:

— Земля! . . . —

кричал:

— Земля! . . . —

смеясь и плача.

* * *

Над синей улицей портовой
всю ночь сияют маяки.
Откинув ленточки фартово,
всю ночь гуляют моряки.

Кричат над городом сирены,
и птицы крыльями шуршат.
И припортовые царевны
к ребятам временным спешат.

Ведь завтра, может быть, проститься
придут ребята — да не те.
Ах, море, синяя водица,
ах, голубая канитель!

Его затихнуть не умолишь,
взметнутся щепками суда.
Земля надежнее, чем море —
так почему же вы туда?

Волна соленая задушит,
ее попробуй упросить.
Ах, если б вам служить на суше,
да только б ленточки носить.

* * *

Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.

Мы земных земней.

И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто
мы на крыльях носим
то, что носят на руках.

Просто

нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к нам.

Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Анкара, Анкара!
Не за синие вечера
с севастопольского причала
полюбили тебя юнкера.

...А в крымской пыли
всё маки цвели,
а погоны и кокарды
повыцвели.

И на утренней заре,
отгуляв до поры
и поротно,
закатились в Анкару
золотые юнкера
безвозвратно.

Там дом, там Крым
шумит кедрами.
Не спят мальчики
русокудрые.

С далека заманчивый
чужой город спит.
Не спят мальчики —
они пьют спирт.

Выпей на пол-ордена,
мундир залатай...
Где ж твоя родина,
юнкер золотой?

За морем стобалльным,
за синей волной...
С нею больно,
без нее — больней.

Наплетут с три короба
на нее.
(У чужого города
сердце свое.)

Наплетут, насвищут,
но с каждым днем
будет она чище
в сердце твоём.

«Пусть ее вечер
по-осеннему сер,
но она ведь родина...
Как я посмел?!»

Пусть она горькая,
пускай без сил,
но она ведь — матушка...
Где же я был?!»

...Вот мы и встретимся
на краю земли,
где, словно лебеди,
молчат корабли,
где начинается
первая рожь,
куда все равно, хоть зарежь,
приползешь.

ПЕСЕНКА О БАРАБАННОМ ПЕРЕУЛКЕ

В Барабанном переулке барабанщики живут.
Поутру они как встанут, барабаны как возьмут,
как ударят в барабаны, двери настезь отворя...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

В Барабанном переулке барабанщиц нет, хоть
плачь.

Лишь грохочут барабаны ненасытные, хоть прячь.
То ли утренние зори... То ль вечерняя заря...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

Барабанщик пестрый бантик к барабану привязал,
барабану бить побудку, как по буквам, приказал
и пошел по переулку, что-то в сердце затая...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

А в соседнем переулке барабанщицы живут
и, конечно, в переулке очень добрыми слывут.
И за ними ведь не надо отправляться за моря...
Но где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

ПЕСЕНКА О СОКОЛЬНИКАХ

По Сокольникам листья летят золотые,
а за Язу — лето летит.
Мы с тобою, Володя, почти молодые —
нам и старость в глаза не глядит.

Ну давай,
как в канун годового отчета,
не подумав заняться другим,
мы положим на стол канцелярские счета
и ударим по струнам тугим.

И разлукой, и кровью, и хлебом мякинным,
и победой помянем войну:
пять печальных костяшек
налево откинем,
а счастливую — только одну.

Все припомним, сочтем и учтем,
и, конечно,
не похожи на сказку и бред,
побегут под рукой
за колечком колечко
цвета радостей наших и бед.

Ах, потери, потери, — с кого мы их спросим?
Потому,
разобравшись во всем,
два печальных колечка налево отбросим,
три веселых направо снесем.

...По Сокольникам сумерки сыплются синим,
и домишки старинные спят.
Навсегда нам с тобою, Володя Максимов,
каждый шорох за окнами свят.

Навсегда-навсегда,
меж ночами и днями,
меж высокой судьбой и жильем
мы выросли,
словно сосны,
своими корнями
в ту страну, на которой живем.

ПЕСЕНКА О БЕЛЫХ ДВОРНИКАХ

Вот белые дворники
белые фартуки
выстирали,
по белым веревкам развесили их во дворах,
и белые бороды в окна воскресные
выставили
соседкам своим во спасенье,
мальчишкам на страх.
Бывают у дворников тоже простые и праздничные,

СТИХИ ПРО МАЛЯРОВ

Уважайте маляров,
как ткачей и докторов.
Нет, не тех, что по ограде
раз мазнул — и будь здоров,
тех, что ради солнца,

ради

красок

из глубин дворов
в мир выходят на заре,
сами — в будничном наряде,
кисти — в чистом серебре.

Маляры всегда честны,
только им слегка тесны
сроки жизни человеческой,
как недолгий бег весны.
И когда ложатся спать,
спят тела, не спится душам:
этим душам вездесущим
красить хочется опять.
Бредят кистями ладони,
краски бодрствуют,

спешат,

кисти,

как ночные кони,
по траве сырой шуршат...
Синяя по окнам влага,
бурый оползень оврага,
пятна на боках ковров —
это штуки маляров.

Или вот вязанка дров,
пестрая, как наважденье,
всех цветов нагроможденье:

Их немного состарило время — века
и заботы,

но...

идут донкихоты.

Вот они поднимаются постепенно
на свои этажи, на свои чердаки,
и гремят каблуки по ступеням,
и поют соловьями звонки.

Дульцинея, встречай!

Вот он входит усталым шагом
с краснопресненскими ландышами в руке,
не в доспехах и не со шпагой,
а в рабочем своем пиджаке.

Дульцинея,

а помнишь своего Дон-Кихота
в минувшие года?

Дульцинея,

а помнишь: уходила пехота
неведомо куда,

где того и гляди

встретит смерть на пути,

стукнет пуля в висок

наискосок,

и смолкнет скучный ее голосок...

А рыцарский скарб — по музеям весь:
стали музеям мечи ценнее,

но

гранату за пояс, винтовку наперевес

и

«Ты не плачь, я вернусь, Дульцинея!»

...Да, живут донкихоты!

Я касаюсь в толпе их руки.

Да, я слышу — с рассветом

гремят башмаки вдоль реки.

Да, взирают из окон,

да, глядят,

как над городом вечер синеет
нежданный...
В переулке Глубоком,
как столетья назад,
дульцинеи
жаждут
свиданий.

САПОЖНИК

Кузьма Иванович — сапожник ласковый.
Он сапоги фасонные тачает.
А черный молоток его, как ласточка,
хвостом своим раздвоенным качает.

Он занят целый день поклонами,
тот молоток. Он по подметкам метит.
А к вечеру — все гвоздики поклеваны,
все сапоги починены на свете.

Я слышу рассуждения домашние,
когда над головою свет потухнет:
кто носит сапоги — пускай донашивает...
А сам Кузьма Иваныч носит туфли.

Постукивает под крыльцом, позевывает
и постепенно понимает вроде,
что ну их к черту, сапоги кирзовые...
А сапоги фасонные не в моде.

Кузьма Иванович, ступай на пенсию;
есть фабрики — военных обошьют.
Но пусть война останется за песнею.
А ласточке твоей пора на юг.

Она хвостом своим качнет раздвоенным,
из рук твоих натруженных рванется
и полетит над грозами, над войнами...
А ты сиди и жди. Она вернется.

НА РАССВЕТЕ

Руки засунув в карманы,
похаживают всякие краны.
Бульдозеры, словно крабы,
почтительно шествуют в свите...
О, Москва на рассвете
чудесами полна.
Вот буксирный пароходик «Ветер»
подкидывает волна,
и он проползает мимо,
весь в мазутном поту,
белыми кольцами дыма
жонглируя на ходу.
А вот идет человечек,
маленький,
смешной человечек —
пиджак наброшен на плечи,
во рту папиросы блистанье...
Ты куда, человечек?
Это ж царство бетона и стали!
Вдруг бульдозер какой-нибудь,
от злости сопя,
в землю втопчет тебя...
Но перед ним ложится пространство,
и краны гнутся подобострастно,
и бульдозеры униженно пятятся,
словно пытаются спрятаться.
Стальные чудища,

мне вас жалко:
вы и слабей,
вы и глупей...
А это идет Петька Галкин —
мы раньше
гоняли с ним голубей.

МАРФА

С невеселого месяца марта
твоя родословная, Марфа.
Небо пялится грустно.
Небо валится грузно.
Что за мартом — весна?
Что за мартом — зима?
Недогадливы люди.
Сходят с ума.
То дожди, то метели,
то сугроб, то вода...
Только ты, моя Марфа,
светла всегда.
Лишь единую спичку
на единую вспышку —
и пойдет
и потянется плавно
из окна
сарафанное пламя.
Как же быть человечеству
без окна твоего?
Человечество ж лечится
у огня твоего.
Так живи, моя Марфа,
на окраине марта,
на пороге теплыни вешней
вечно-вечно.

Звезды сыплются в густую траву...

Я в деревне Лазаревке живу,
где налево от ворот любых
километры лесов голубых,
где направо от любых ворот
волчьих вотчин невпроворот.

Я в деревне Лазаревке живу,
вдоль по Лазаревке странствую...
Ты пошли мне, Лазаревка, жену,
как ты, Лазаревка, ласковую,
как ты, Лазаревка, крутую в мороз,
как ты, Лазаревка, жаркую;
чтоб звалась она Марфою,
чтобы ей без меня не жилось,
чтобы отражались в тихой заводи
армии Марфиных соловьев,
чтобы таял от тихой зависти
синий снег под пимами ее.
А когда трактора приползают с марша,
тарахтя на все голоса,
чтоб маячила у околицы Марфа
тоненькая, как лоза.

КОЛЬЦО

Обручила нас с тобой
не кручина —
дело молодое.
Нас кольцо садовое
обручило,
пусть не золотое.

Ювелиры не гудели
в сторону,
не гадали сонно,
сколько в нем, мол,
поровну ль, не поровну ль
золота и звона.

По нему нелегкому
посчитали версты,
прошагали оба,
радовались,
горевали вдосталь... —
это ли не проба?

Мы его на граммы
не развешивали,
в бедах не теряли.
Что ж теперь
клониться оробевшими
перед матерями?

Ты не прячь лицо,
не стой незваную,
гляди зорче...

Ты звени-звени, кольцо,
ты позванивай
да позвонче!

ИСКАЛА ПРАЧКА КЛАД

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.

Корыто от прикосновенья
звенело под струну,
и плыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.

Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной

и что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.

* * *

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:
— Перекроите все иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья.

Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так... Такой чудак.

Одна забота наяву
в его усердьи молчаливом:

чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке, пока живу.

Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

ПОСЛЕДНИЙ ПИРАТ

В районной пивной, на сквозном ветерке,
гуляет Последний Пират.
С малиновым камнем в старинной серьге
идет он в последний парад.

Десятая кружка, добра, как вдова,
плывет, подбоченясь, к нему,
и вобла срывает с себя кружева,
готова уже ко всему.

И пена пивная дрожит на столах,
и брызги слетают с руки,
и красные рыбки в зеленых глазах
свои совершают круги.

Все денежки пропиты.

Руки — на стол!

Я сам из последних плачу
и сам поминаю соленый простор
и как ординарец щучу,
что прокляли б мы наш исхоженный шар
и сами бы сдохли с тоски,
когда б не малиновый этот пожар
серебряной этой серьги.

Когда б не улыбки буфетных ворон,
не пенье фабричной трубы,
когда б не качался под нами перрон,
как палуба нашей судьбы.

* * *

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ах, ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.
Набормочут: «Не люби ее такую!»
Напророчат: «До рассвета заживет!»
Ах, наколдуют, нагадают, накукуют...

А она на нашей улице живет!

* * *

Из окон корочкой несет поджаристой,
за занавесками — мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне — пожалуйста,
шофер в автобусе — мой лучший друг.

А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улице гулять с другим.
Ах, Надя, брось коней кнутом нацелкивать,
попридержи-ка их, поговорим.

Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немислимый такой на ней.
Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы,
куда же гонишь ты своих коней?

Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы,
да не гони же ты своих коней!

* * *

Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье.
Живите, будто заново, всё начинайте снова:
у порога, как тревога, ждет вас новое житье
и товарищ Надежда, по фамилии Чернова.

Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать.
Не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели сорок тысяч всяких книжек прочитать
и узнали, что к чему, и что почем, и очень точно...

Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист.
Нас ждет веселый поезд и два венка терновых,
и два звонка медовых, и грустный машинист —
товарищ Надежда, по фамилии Чернова.

НОВОЕ УТРО

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.

Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу
в последний, в случайный.
Полночный троллейбус, по улицам мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать потерпевших в ночи
крушенье, крушенье!
Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье, в молчанье.
Полночный троллейбус плывет по Москве,
в рассвет мостовая стекает,
и боль, что скворчонком стучала в виске,
стихает, стихает.

ЧЕРНЫЙ КОТ

Со двора подъезд известный
под названьем черный ход.
В том подъезде, как в поместье,
проживает черный кот.

Он в усы усмешку прячет,
темнота ему, как щит.
Все коты поют и плачут,
только черный кот молчит.

Он давно мышей не ловит,
усмехается в усы,
ловит нас на честном слове,
на кусочке колбасы.

Он не бегаёт, не просит,
желтый глаз его горит,
каждый сам ему выносит
и спасибо говорит.

Он и звука не проронит,
только ест и только пьет.
Лестницу когтями тронет —
как по горлу поскребет.

Оттого-то, зная, невесел
дом, в котором мы живем...
Надо б лампочку повесить, —
денег всё не соберем.

Сладко спится на майской заре,
петуху б не кричать во дворе,
но не может петух умолчать,
потому что он создан кричать.

Он кричит, помутнел его взор,
но никто не выходит во двор.
Видно, нету теперь дураков,
чтоб сбегались на крик петухов.

ПЕСЕНКА О ДУРАКАХ

Вот так уж ведется на нашем веку —
на каждый прилив по отливу,
на каждого умного по дураку,
всё поровну, всё справедливо.

Но принцип такой дуракам не с руки, —
с любых расстояний их видно.
И все им кричат: «Дураки! Дураки!»
А это им очень обидно.

И чтоб не краснеть за себя дураку,
чтоб каждый был выделен, каждый,
на каждого умного по ярлыку
повешено было однажды.

Давно в обиходе у нас ярлыки,
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: «Дураки! Дураки!»
А вот дураки незаметны.

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.
Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда ссутулясь входят в дом,
постылые мужчины.
И был тот крик далек, далек
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых,
когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно.

И потому всю ночь, всю ночь
не наступало утро.

ПЕСЕНКА О КАПЛЯХ ДАТСКОГО КОРОЛЯ

(Из кинофильма «Женя, Женичка и 'катюша'»)

В раннем детстве верил я,
что от всех болезней
капель Датского короля
не найти полезней.

И с тех пор горит во мне
огонек той веры.
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Капли Датского короля
или королевы —
это крепче, чем вино,
слаще карамели

и сильнее клеветы,
страха и холеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Рев орудий, посвист пуль,
звон штыков и сабель
растворяются легко
в звоне этих капель.

Солнце, май, Арбат, любовь —
выше нет карьеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Слава головы кружит,
власть сердца щекочет.
Грош цена тому, кто встать
над другим захочет...

Укрепляйте организм,
принимайте меры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Если правду прокричать
вам мешает кашель,
не забудьте отхлебнуть
этих чудных капель,

перед вами пусть встают
прошлого примеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Белый свет я обошел,
но нигде на свете
мне, представьте, не пришлось
встретить капли эти.

Если вам вдруг повезет,
вы тогда без меры
капли Датского короля
пейте, кавалеры!
Пейте, кавалеры!
Пейте, кавалеры!

* * *

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был, —
ведь был солдат бумажный.

Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел, —
ведь был солдат бумажный.

Он был бы рад — в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним, —
ведь был солдат бумажный.

Не доверяли вы ему
своих секретов важных.
А почему? а потому,
что был солдат бумажный.

А он, судьбу свою кляня,
не тихой жизни жаждал
и всё просил: — Огня, огня! —
забыв, что он бумажный.

В огонь? Ну, что ж. Иди! Идешь?
И он шагнул однажды.
И там погиб он ни за грош, —
ведь был солдат бумажный.

ПЕСЕНКА О МЕТРО

Мне в моем метро никогда не тесно,
потому что с детства
оно как песня,
где вместо припева:
«Стойте справа, проходите слева!»

Порядок вечен, порядок свят:
те, что справа стоят — стоят,
но те, что идут, всегда должны
держаться левой стороны!

СТАРЫЙ ДОМ

1

Пятится он, к переулочку лепится,
старьем его занесло-занесло,
а мимо бегут-проплывают троллейбусы,
голубые и звонкие, как назло.

А он свои рыжие трубы поднимает,
а он еще приветствует своих ворон,
и лестничкой поскрипывает, и не понимает,
что хватит.

Нечего.

Приговорен.

А он пересуды еще лепит смачные,
ядовитой плесени разливает моря...
Осторожно, девочка! Он тебя запачкает,
твои круглые плечики, голубка моя!

Завтра же. На рассвете розовом.
И ни минутой позже. Чтобы как в строю.
Сходитесь, люди!

Сползайтесь, бульдозеры!

Спасайте девочку —

голубку мою!

Пусть стены закачаются, коридоры скользкие
рухнут

и покатится гул по мостовой,
чтоб вышло пропавшее без вести войско,
спасенное войско дышать Москвой.

2

Дом предназначен на слом. Извините,
если господствуют пыль в нем и мрак.
Вы в колокольчик уже не звоните.
Двери распахнуты. Можно и так.

Все здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем.
Ночь неспроста тишину созвала.
Серые мыши, печальные мыши
все до единой ушли со двора.

Где-то теперь собралось их кочевье?..

Дом предназначен на слом.

Но сквозь тьму,
полно таинственного значенья,
что-то еще шелестит по нему.

Мел осыпается. Ставенка стонет.

Двери надеются

на визит.

И удивленно качается столик.

И фотокарточка чья-то висит.

И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем,
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.

Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.

Что ж мы с тобой позабыли в том доме?

Или не все унесли из него?

Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если — она?..

Ну-ка гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!

Ну-ка взбежим по ступенькам знакомым!

Ну-ка

для успокоенья души
крикнем, как прежде:

«Вы дома?.. Вы дома?!..»

Двери распахнуты.

И ни души.

МАСТЕР ГРИША

В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме
благодать, благодать.

Все обиды до времени прячем.

Ничего, что удачи пока не видать —
зря не плачем.

Зря не плачем, зря не плачем, зря не плачем.

Для чего, для чего?

Мастер Гриша придет, рядом сядет.

Две больших, две надежных руки у него,
все наладит.

Все наладит, все наладит, все наладит.

Переждем, переждем.

На кого же нам надеяться кроме?

Разговоры идут день за днем все о том
в нашем доме.

В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме
сквозняки, сквозняки.

Да под ветром корежится крыша.

Ну-ка выйми из кармана свои кулаки,
мастер Гриша, мастер Гриша, мастер Гриша

Стихи и песни
о вере, надежде, любви

*...Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви.
...Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.*

ФРАНСУА ВИЙОН

Пока земля еще вертится, пока еще
ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову, трусливому дай
коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока земля еще вертится, — Господи,
Твоя власть! —
дай рвущемуся к власти
навластвовать всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня,
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.

Я знаю: Ты все умеешь,
я верую в мудрость Твою,
как верит солдат убитый, что он
проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам
Твоим,
как веруем и мы сами, не ведая,
что творим!

Господи мой Боже, зеленоглазый
мой!
Пока земля еще вертится, и это ей
странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня,
дай же Ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

* * *

Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы,
молчаливые Вера, Надежда, Любовь.

Расплатиться бы сыну недоброго века,
да пусты кошельки упадут с руки.
— Не грусти, не печалуйся, о, моя Вера,
остаются еще на земле должники.

И еще я скажу, и бессильно и нежно,
две руки виновато губами ловя:
— Не грусти, не печалуйся, мать Надежда,
есть еще на земле у тебя сыновья.

Протяну я к Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.

Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя не сжигал неземной,
в трехкратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась, ты чист предо мной.

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
белым флагом струится на пол простыня.
Три судьи, три жены, три сестры милосердных
открывают бессрочный кредит для меня.

* * *

Земля изрыта вкривь и вкось.
Ее, сквозь выстрелы и пенье,
я спрашиваю:

«Как терпенье?
Хватает? Не оборвалось?»

Выслушивать все наши бредни:
кто самый первый, кто последний?..»
Она мне шепчет горячо:
«Я вас жалею, дурачье!
Пока вы топчетесь в крови,
пока друг другу глотки рвете,
я вся — в тревоге и заботе...
изнемогаю от любви!
Зерно спалите — морем трав
взойду над смертью и разрухой,
чтоб было чем наполнить брюхо,
покуда спорите, кто прав.»
... Мы все — трибуны, смельчаки,
все для свершений народились,
а для нее — озорники,
что попросту от рук отбились.
Мы для нее, как детвора,
что средь двора
друг друга валит...
И всяк свои игрушки хвалит...
Какая долгая игра!

РОДИНА

Говоришь ты мне слово покоя.
Говоришь ты мне слово любви.
Говоришь ты мне слово такое,
восхищенное слово «Живи!»

Я тобою в мучениях нажит,
в долгих странствиях каждого дня.
Значит, нужен тебе я и важен,
если ты позвала вдруг меня.

Разве ею ты не клялся
в миг,
 когда один остался
с вражьей пулей
 на один?
И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно
 красный лебедь,
 снова
прокричали песнь твою.
И когда пропал в краю
вечных зим,
 песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.
Мир качнулся.
 Но опять
в стуже,
 пламени
 и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять...
И не верь ты докторам,
что
 для улучшения крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.

надежды маленький оркестрик под управлением
любови.

Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт,
на барабанах швы разлезлись. . .

Но кларнетист красив, как черт!
Флейтист, как юный князь, изящен. . .

И вечно в стоворе с людьми
надежды маленький оркестрик под управлением
любови.

О ДРОЗДАХ

Чем старей,
тем скорей
расслабляются
пятерни якорей.

И надежды смешней,
а потребность в надеждах
острей,

и в прекрасных залатанных крыльях
(как ты ими ни шевелишь)
только гордость одна и осталась...

Далеко ли на ней улетишь?

Уж какую весну,
черный дрозд, —
я пытаюсь взлететь —
не могу.

Не жалеете дроздов:
нам, дроздам, как солдатам,
все равно погибать на бегу.

Ну, так пусть же на тающем снеге апрельском
мелькнет иногда
не упрек, не намек, —

просто черный комок
путешествующего дрозда.

* * *

Строитель, возведи мне дом,
без шуток,

в самом деле,
чтобы леса росли на нем
и чтобы птицы пели.

Построй мне дом, меня любя,
построй, продумав тонко,
чтоб был похож он на себя
на самого,

и только.

Ты не по схемам строй его,
ты строй не по стандарту, —
по силе чувства своего,
по сердцу,

по азарту.

Ты строй его — как стих пиши,
как по холсту — рисуя.

По чертежам своей души,
от всей души,

рискуя.

* * *

Есть разные красивые слова:
слушаешь —

кружится голова.

Как будто опьянен сиренью...

такое
головокруженье.

Есть вкрадчивые, тихие слова,
слова,

не объяснимые сперва,
как будто бы сова
к стволу прижалась,

о чем-то призадумалась
сова.

Иному слову тесно в словаре,
как тесно рыболову во дворе,
иные век глядят, не говоря,
из словаря, как из монастыря.

А есть слова: шинелей серый ряд.
В литые сапоги

они обуты,
ремни свои затягивают круто,
махоркою прогорклою дымят.
Вот так дымят: размеренно,

не наспех.

Но позови — сигарки под каблук
и за тебя — в любой огонь,

хоть на смерть,
оружия не выпустив из рук.

* * *

Пароход попрощается басом,
и пойдет

волной его качать...

В жизни я

наошибался.

Не пора ли кончать?

Вот я снова собираю пожитки
и... опять совершаю ошибки.

А кто-то кричит мне с порога:
— Это ж не дорога,

а морока!..

А мне спешить
далеко-далеко:
жизнь не дается на два срока.

* * *

Еще ничто не погасло,
ничто не погасло,
но тает мое богатство,
мое богатство.

По гулким улицам буден,
по тихому плесу
приходят разные люди,
по зернам уносят.

А каждому хочется лучшего,
самого лучшего...
И сыплются зерна, и тают,
а кто их считает?

Их много еще пока что
спелых и жарких...
И тает мое богатство,
и мне не жалко.

* * *

Итак, я постарею...
Неужели я постарею,
кашне закручу на шею,
глубокие калоши куплю,
и тебя разлюблю,

и буду на виду у прохожих
сидеть на бульваре воскресном
и коченеть в зной,
и молодежи будет тесно
рядом со мной?

Неужели это случится?
На век не хватает огня.
Не стареют ведь птицы...
Научите меня,

чтобы петь, петь, петь,
поднимаясь круто
до последней минуты...
А потом уж упасть,
как пропасть!

* * *

...Вот я добираюсь
до своих высот,
и ковровую дорожку
жизнь мне стелет...
Но, может, меня
не туда несет?
Быть может, здесь я
простой подмастерье?
Рассчитал косолапо
и наскоро
и просчитался
тут?..
А где-то ждут меня, мастера,
пропавшего мастера
ждут.

ЗАМОК НАДЕЖДЫ

Я строил замок надежды. Строил-строил.
Глину месил. Холодные камни носил.
Помощи не просил.

Мир так устроен:
была бы надежда. Пусть не хватает сил.

А время шло. Времена года сменялись.
Лето жарило камни. Мороз их жег.
Прилетали белые сороки — смеялись.
Мне было тогда наплевать
на белых сорок.

Лепил я птицу. С красным пером. Лесную.
Безымянную птицу, которую так люблю.
«Жизнь коротка. Не успеешь, дурак...»
Рискую.

Женщина уходит, посмеиваясь.
Леплю.
Коронованный всеми празднествами, всеми
боями,
строю-строю.

Задубела моя броня...
Все лесные свирели, все дудочки, все баяны,
плачьте,
плачьте,
плачьте
вместо меня.

А ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ПРИЛОЖИТСЯ

Не верю в Бога и в судьбу.
Молюсь прекрасному и высшему
предназначенью своему,
на белый свет меня явившему.

Чванливы черти, дьявол зол,
бездарен Бог — ему неможется...
О, были б помыслы чисты!
А остальное всё приложится.

Верчусь, как белка в колесе,
с надеждою своей за пазухою,
ругаюсь, как мастеровой,
то тороплюсь, а то запаздываю.

Покуда дремлет бог войны,
печет пирожное пирожница...
О, были б небеса чисты!
А остальное всё приложится.

Молюсь, чтоб не было беды.
И мельнице молюсь и мыльнице,
воде простой, когда она
из золотого крана вырвется,
молюсь, чтоб не было разлук,
разрух,
чтоб больше не тревожиться...

О, руки были бы чисты!
А остальное всё приложится.

МОЙ КАРАНДАШНЫЙ ПОРТРЕТ

Шуршат, шуршат карандаши
за упокой живой души.
Шуршат не нашуршатся,
а вскрикнуть не решатся.
А у меня горит душа,
но что возьмешь с карандаша:

он правил не нарушит
и душу мне потушит.
...Последний штрих, и вот уже
я выполнен в карандаше,
мой фас увековечен...
Но бушевать мне нечем,
и жилка не стучит в висок,
хоть белый лоб мой так высок,
и я гляжу бесстрастно
куда-то все в пространство.
Как будет назван тот портрет?
«Учитель»,
 «Каменщик»,
 «Поэт»,
«Немой свидетель века»?..
Но мне ли верить в это?
Я смертен. Я горю в огне.
Он вечен в рамке на стене
и премией отмечен...
...да плакать ему
 нечем.

* * *

Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...
Так что же я смею?
 И что я могу?

Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не люблю
женщин, которых не люблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу,
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу...
в пуле, которую не заслужу?..

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Осенний холодок.
Пирог с грибами.
Калитки шорох и простывший чай.
И снова
неподвижными губами
короткое, как вздох:
«Прощай, прощай...»

«Прощай, прощай...»
Да я и так прощаю
все, что простить возможно,
обещаю
простить и то, чего нельзя простить.
Великодушным я обязан быть.

Прощаю всех, что не были убиты
тогда, перед лицом грехов своих.
«Прощай, прощай...»

И вот, уже от слез на волосок,
я слышал вдруг,
как раздавался
четкий
свихнувшейся какой-то
нотки
веселый и счастливый голосок.
Пускай охватывает нас смятением
несоответствие
мехов тугих,
но перед наводнением смертельным
все хочет жить.
И нету правд других
Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
...Сто раз я нажимал курок
винтовки,
а вылетали только соловьи.

* * *

Умереть —
тоже надо уметь,
на свидание к небесам
паруса выбирая тугие.
Хорошо, если сам,
хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха,
бестелесна,
у себя на уме.
Грустных слов чепуха
неуместна,
как холодное платье — к зиме.

И о чем толковать?
Вечный спор
не решил ни Христос, ни Иуда...
Если там — благодать,
что ж никто до сих пор
не вернулся с известьем оттуда?

Умереть —
тоже надо уметь,
как прожить
от признанья до сплетни,
и успеть
предпоследний мазок положить,
сколотить
табурет предпоследний,
чтобы к самому сроку
как в пол — предпоследнюю чашу,
предпоследние слезы — со щек...

А последнее — Богу,
последнее — это не наше,
последнее — это не в счет.

Умереть —
тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...

Отпущенье грехов заиметь —
ах, как этого мало
для вечного счастья!

Сбитый с ног
наповал
отпущением, что он добудет?
Если б Бог

отпущенье давал!
А дают-то ведь люди...

Что — грехи?.. Остаются стихи,
продолжают бесчинства по свету,
не прося снисхожденья...
Да когда бы взаправду — грехи,
а грехов-то ведь нету —
есть просто движенье.

* * *

Надежда, белою рукою
сыграй мне
 что-нибудь такое,
чтоб краска схлынула с лица,
как будто кони — от крыльца.

Сыграй мне
 что-нибудь такое,
чтоб ни печали, ни покоя,
ни нот, ни клавиш и ни рук...
О том,
 что я несчастен,

 врут!

Еще нам плакать и смеяться,
но не смиряться, не смиряться...
Еще не пройден тот подъем...
Еще друг друга мы найдем...
Все эти улицы — как сестры.
Твоя игра — их говор пестрый,
их каблуков полночный стук...
Я жаден до всего вокруг.

Она еще очень неспетая,
она зелена, как трава,
но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та, самая главная, песенка,
которую спеть я не смог.

* * *

Берегите нас, поэтов, берегите нас.
Остается век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас, но только — все за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без...
Где-то юный и прекрасный бродит наш Дантес.
Он минувшее проклятье не успел забыть,
но велит ему призыванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь.
Он уже убил однажды, он не хочет вновь,
но судьба его такая, и свинец отлит.
И двадцатое столетье так ему велит.

была им превыше, чем злость...
А празднества — это лишь слабость
минутная.

Так повелось.

Я вовсе не прославляю,
я радуюсь, что они есть...
О, как им смешны, представляю,
посмертные тосты в их честь!

ВСТРЕЧА

Кайсыну Кулиеву

Насмешливый, тщедушный и неловкий,
единственный на этот шар земной,
на Усачевке, возле остановки,
вдруг Лермонтов возник передо мной,
и в полночи рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил) —
— Мартынов — что... —

он мне сказал с улыбкой. —

Он невиновен.

Я его простил.

Что — царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.

Что — раб?.. Бог с ним. Не воин он один.

Царь и холоп — две крайности, мой милый.

Нет ничего опасней средин.

Над мрамором, венками перевитым,
убийцы стали ангелами вновь.

Удобней им считать меня убитым:

венки всегда дешевле, чем любовь.

Как дети, мы все забываем быстро,

обидчикам не помним мы обид,

и ты не верь, не верь в мое убийство:

другой поручик был тогда убит.
Что — пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
тот пистолет растерянно держащая,
особенно тогда она страшна,
когда сто раз пред тем была нежна...
Но, слава Богу, жизнь не оскудела,
мой Демон продолжает тосковать,
и есть еще на свете много дела,
и нам с тобой нельзя не рисковать.
Но, слава Богу, снова паутинки,
и бабье лето тянется на юг,
и маленькие грустные грузинки
полжизни за улыбки отдают,
и суждены нам новые порывы,
они скликают нас наперебой...

Мой дорогой,
пока с тобой
мы живы,
все будет хорошо
у нас с тобой...

АЛЕКСАНДР СЕРГЕИЧ

С. П. Щипачеву

Не представляю Пушкина без падающего
снега,
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые закружатся с неба,
мне кажется, что бронза тихо звенит.

Не представляю родины без этого звона.
В сердце ее он успел вырасти,

как его поношенный сюртук зеленый,
железная трость и перо — в горсти.

Звени, звени, бронза. Вот так и согреешься
Падайте, снежинки, на плечи ему...

У тех — все утечи, у этих — все зрелища,
а Александр Сергеича

ждут в том дому.

И пока, на славу устав надеяться,
мы к благополучию спешим нелегко,
там гулять готовятся

господа гвардейцы

и к столу скликают

«Вдова Клико»,

там напропалую, как перед всем светом,
как перед любовью — всегда правы...
Что ж мы осторожничаем?

Мудрость не в этом.

Со своим веком можно ль на «вы»?

По Пушкинской площади

плещут страсти,

трамвайные жаворонки, грех и смех...

Да не суетитесь вы!

Не в этом счастье.

Александр Сергеич помнит про всех...

СЧАСТЛИВЧИК

Александр Сергеичу хорошо!

Ему прекрасно!

Гудит мельничное

колесо,

боль угасла,

баба щурится
 из избы,
в поле — жаворонки,
только десять минут езды
до ближней
 ярмарки.
У него — ремесло первый сорт,
и перо
 óстро...
Он губаст и учен, как черт,
и все ему
 просто:
жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой
 смерти.
Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы
 его стихи
на память заучивали!
Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.
Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.
Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.

ГРИБОЕДОВ В ЦИНАНДАЛИ

Цинандальского парка осенняя дрожь.

Непредвиденный дождь.

Затяжной.

В этот парк я с недавнего времени вхож —
мы почти породнились с княжной.

Петухи в Цинандали кричат до зари:

то ли празднуют, то ли грустят...

Острословов очкастых не любят цари, —

Бог простит, а они не простят.

Петухи в Цинандали пророчат восход,

и под этот заманчивый крик

Грибоедов,

как после венчанья,

идет

по Аллее Любви

напрямик,

словно вовсе и не было дикой толпы

и ему еще можно пожить,

словно и не его

под скрипенье арбы

на Мтацминду везли хоронить;

словно женщина эта — еще не вдова,

и как будто бы ей ни к чему

на гранитном надгробье проплакать слова

смерти, горю,

любви и уму;

словно верит она в петушиный маневр,

как поэт торопливый — в строку...

Нет, княжна, я воспитан на лучший манер

и солгать вам, княжна, не могу,

и прощенья прошу за неловкость свою...

Но когда б вы представить могли,

Пушкин долги подсчитывает,
и, от вечной петли спасен,
в море вглядывается с мачты вор Франсуа Вийон!

Быть может, завтра меня матросы под бульканье
якорей
высадят на одинокий остров с мешком гнилых
сухарей,
и рулевой равнодушно встанет за штурвальное
колесо,
и кто-то выругается сквозь зубы
на прощание мне в лицо.

Быть может, все это так и будет. Я точно знать
не могу.

Но лучше пусть это будет в море, чем
на берегу.

И лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали,
чем презирающие море обитатели твердой земли...

До свидания, Павел Григорьевич!
Нам сдаваться нельзя.

Все враги после нашей смерти запишутся к нам
в друзья.

Но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть...
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!

ЭТА КОМНАТА

К. Г. Паустовскому

Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.
Люблю я эту комнату,
где проживает ересь

с богами наравне.
Где в этом, только в этом
находят смысл
и ветром
смывают гарь и хлам,
где остро пахнет веком
четырнадцатым
с веком
двадцатым пополам.
Люблю я эту комнату
без драм и без расчета...
И так за годом год
люблю я эту комнату,
что, значит, в этом что-то,
наверно, есть, но что-то —
и в том, чему черед.
Где, дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,
что жив и что угас, —
я вижу, как насмешливо,
а может быть, печально
глядит она на нас.
Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок — не забыть...
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.

* * *

Ярославу Смелякову

В детстве мне встретился как-то кузнечик
в дебрях колечек трав
и осок.
Прямо с колючек, словно с крылечек,
спрыгивал он, как танцор,
на носок,

Мой город засыпает. Да мне-то что с того?
Я был его мальчишкой, я нянькой был его,
я был его солдатом, его рабочим был...

Он слишком удивленно всегда меня любил.
Он слишком осторожно мне руку подавал,
по будням меня помнил, а в праздник

забывал.

И если я погибну, и если я умру,
проснется ли он с криком однажды поутру?
Пошлет ли сокрушенно перед началом дня
своих счастливых женщин

оплакивать меня?..

...Но с каждым днем все чище, все злей

его люблю

и из своей любви богов своих леплю.

Мне ничего не надо, и сожалений нет:
со мной моя гитара и пачка сигарет.

АРБАТСКИЙ ДВОРИК

...А годы проходят, как песни,
иначе на мир я гляжу,
во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.

и у него —
мои глаза и руки.

А лесу платья старые тесны.
Лесник качается
на качкой кочке
и все старается
не прозевать весны
и первенца принять
у первой почки.

Он наклоняется — помочь готов,
он вслушивается,
лесник тревожный,
как надрывается среди стволов
какой-то стебелек
неосторожный.

Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они
друг друга учат,
как под открытым небом
март рожать!

Все снова выстроить — нелегкий срок,
как зиму выстоять, хоть и знакома...
И почве выстрелить
свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома...

...Лес не кончается.
И под его рукой
лесник качается,
как лист послушный...
Зачем отчаиваться,
мой дорогой?
Март намечается
великодушный!

ПОДМОСКОВЬЕ

1

Март намечается.

Слезой со щеки
вдруг скатывается издалека...
И вербины цветы, как серые щенки,
ерошат шерсть и просят молока.
И тополи

попеременно
босые ноги ставят в снег,
скользя,
шагают, как великие князья, —
как будто безнадежно,
но надменно.

2

Кричат за лесом электрички,
от лампы — тени по стене,
и бабочки,
как еретички,
горят на медленном огне.
Сойди к реке по тропке топкой,
и понесет сквозь тишину
зари вечерней голос тонкий,
ее последнюю струну.
Там отпечатаны коленей
остроконечные следы,
как будто молятся олени,
чтоб не остаться без воды...
По берегам, луной залитым,
они стоят: глаза — к реке,
твердя вечерние молитвы

на тарабарском языке.
Там птицы каркают и стонут.
Синеют к ночи камыши,
и ветры с грустной истомой
все дуют в дудочку души...

3

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.

И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.

4

Как ты там поживаешь над рекой Серёной,
карасями заселенной,
облаками засоренной?

Как ты там поживаешь в своем

скворешнике,

примостившемся на берегу,
где полки́ молодого орешника
на бегу
изогнулись в дугу,
где в тине, зеленой и темной,
перепутались рыбы следы,

где ивы, упрямо и томно,
перелистывают книгу воды?..
А когда осенний дождичек частый
бубнит, как столетний дед,
кому ты выносишь в пригоршнях счастье,
которому имени нет?

5

Все поле взглядом невзначай окинь:
костры, костры, костры и дух щавелей...
И трактора сползались на огонь
и желтыми лучами шевелили.

Осенний первый дождь спокойно шел
и не мешал огню, и было ярко,
и пахло щами и ржаной коркой...
Лес лисами и листьями шуршал.

Мы крепко спали на пороге дня.
Лишь дождь перебирал привычно струны,
и наши тени, медленно и странно,
плясали, приседая, у огня...

6

А знаешь ты,
что времени у нас в обрез,
и кошельки легки без серебра,
учитель мой, взъерошенный как бес,
живущий в ожидании добра?

Когда-нибудь
окончится осенний рейс,
и выяснится наконец, кто прав,

и скинет с плеч своих наш поздний лес
табличку медную:

«За нарушение — штраф!»

Когда-нибудь
внезапно стихнет карусель
осенних роц и неумытых луж,
и только изумленное:

«Ужель

возможно это?!» —

вырвется из душ.

И в небеса
взовьется белый дым змеей,
и, словно по законам волшебства,
мы пролетим над теплою землей
в обнимку,
как кленовая листва...

7

Где-то там, где первый лег ручей,
где пробился корм, парной и смачный,
начинаются бунты грачей
и жуков торжественные свадьбы.
И меж ними, словно меж людьми,
разворачиваются,
как горы,
долгие мистерии любви
и решительные разговоры.
И к коричневым глазам коров
и к безумным бусинкам кошачьим
подступают из глубин дворов
и согласие
и неудачи...

И тогда доносится с небес,
словно мартовская канонада:
— Вы хотите друг без друга,
без
маеты?..
— Не надо! Нет, не надо!

РУИСПИРИ

(шуточная баллада)

Посвящается Арчилу Окуджава

1

Красноватой коры красота.
Черепичина кровель.
Мха короста.
И Гомборская высота,
ястребиной крапленая кровью.
Все так просто!

Предзакатные тени тихи.
В руиспирском духане
духанщик —
счастливый обманщик —
в десятом стакане
мои воспевают грехи.

Виноградным вином я не брезгую,
я не брезглив.
Он хохочет:
он не верит мне трезвому,
и беседовать так, не в розлив,
он не хочет.

Не его ли мы ищем?
Я себя узнаю,
потому что здесь воздух очищен.
Все слова мной оставлены там,
в городах,
позабыты.
Все обиды,
словно досками окна в домах,
позабыты.
Все причуды
(их там целые груды,
словно горы немытой посуды
побитой).

Где-то там,
свой покой сторожа,
и велик, хоть и прожит,
мой последний любимый ханжа
до меня дотянуться не может.

Нет земли.
Вся земля — между небом и мною.
Остальное —
одни пустышки.
И последний альпийский цветок,
что не пробовал зноя,
в городские не верит стихи. . .

2

. . . По ущелью молочный туман
проползает змеею.
Я об этом кричу изумленно. . .
Мне духанчик подносит туман
(я не пьян)
вместе с этой землею
влюбленно.

Пью и эдак и так,
натошак,
неумело и скверно...
(До ближайших писак —
с полстолетья, наверно.)

Прислонившись спиной к жерновам,
он как будто бы дразнится.
Я учу его трезвым словам,
учит он меня праздности.
Я пытаюсь его усмирить,
как придется,
разумнее быть
призываю...
Учит он меня весело жить
и смеется,
бездонный свой рот разевая.

Десять бочек пусты.
Я не пьян.
Но не вышло бы боком!..
Он — двухсотый стакан
за мое красноречие:
«С богом!..»

Двадцать бочек лежат на дворе,
совершенно пустые.
На вечерней заре
отношения очень простые.
Сорок бочек лежат на дворе.
Это мы их распили
на вечерней заре
на краю у села Руиспири!

Все так правильно в этом краю,
как в раю!

Я кричу про зарю.
Он зарю
мне на блюде подносит,
и взамен ничего он не просит.
Я немею! . .
Только сам ничего не дарю —
не умею.

Он в ладонь мое сердце берет,
он берет мою душу,
как врач, осторожно. . .
И при этом поет. . .
Я не то чтобы трушу —
мне просто тревожно.

— Что?
Зачем?
Для чего?
Почему?! —
так кричу я.
Но помощник его,
словно фельдшер, к нему
подбегает, танцуя.
Из каких-то там недр
извлекает он рыбу и зелень. . .
Он по-дьявольски щедр
и по-ангельски как-то рассеян.
Сыплет зелень на сердце мое
и на душу, с лихвою.
А духанщик поет
и качает своей головою,
и лежат они: сердце, душа.
Свежий ветер ущелий и речек
между ними струится, шурша:
лечит, лечит. . .

3

... Не хочу уезжать. Наотрез.
Чтобы снова томиться?..
Я как стеклышко трезв.
И шашлык на мангале дымится.
Но духанщик подносит мне рог
(свой восторг
выражает),
и меня по-приятельски — в бок,
и трезвее, чем бог,
вслед за мной — на порог:
проводит,
и за счастье дорог
тост последний свой
провозглашает.

4

Спят земля,
общепит и нарпит,
и котлеты с лапшой...
Лишь село Руиспири не спит,
над моею врачуя душою.

Где-то там, по земле, я хожу,
обуянный огнем суеты
и тщеславьем охвачен,
как жаждой в пустыне...
Но отсюда, как бог, я гляжу
на себя самого с высоты
и себе самому ничего не прощаю отныне.

Никакого духана здесь нет.
Ничего с нас не спросят,
если даже мы что-нибудь скрыли

от любви и от долга. . .
Но, однако, пускай как на свет
нас на эти высоты возносят
наши белые крылья
хотя б ненадолго. . .

Возноситесь сюда
иногда. . .
Здесь колхозники
очень щедры.

Что — пиры?
Есть на свете важнее дары:
в ранний час, когда ветер затих
и затихли рассветные речи и рощи,
поглядите отсюда на землю, на себя на
самых —
сразу многое станет яснее и проще.

В ГОРОДСКОМ САДУ

Круглы у радости глаза и велики —
у страха,
и пять морщинок на челе
от празднеств и обид...
Но вышел тихий дирижер,
но заиграли Баха,
и все затихло, улеглось и обрело
свой вид.

Все встало на свои места,
едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд —
на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено,
квитанции Госстраха

и вам — ботинки первый сорт,
которым сносу нет?

«Не все ль равно: какой земли
касаются подошвы?
Не все ль равно: какой улов
из волн несет рыбак?
Не все ль равно: вернешься цел
или в бою падешь ты,
и руку кто подаст в беде —
товарищ или враг?..»

О, чтобы было все не так,
чтоб все иначе было,
наверно, именно затем,
наверно, потому
играет будничным оркестр
привычно и вполсилы,
а мы так трудно и легко
все тянемся к нему.

Ах, музыкант, мой музыкант!
Играешь, да не знаешь,
что нет печальных, и больных,
и виноватых нет,
когда в прокуренных руках
так просто ты сжимаешь,
ах, музыкант, мой музыкант,
черешневый кларнет!

КОЛОКОЛ

С. Наровчатову

Ударил колокол по свету.
Поэт прочел веселый стих.
А ты почувствовал, что нету
еще десятка лет твоих.

А ты на ветер не бросал их,
они в анкете учтены..
Ах, на каком таком базаре
отдал ты их за полцены?

Отдал куда — и не заметил,
отдал кому — и не спросил..
Ударил колокол, как ветер,
как первый грач крылом косым.

Он бил легко и неустанно.
А где-то стало вдруг теплей,
кому-то вдруг светлее стало
от тихой щедрости твоей.

ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК

Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше,
когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанщик
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот.
Но прислушайся — услышишь, как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер — заговорщик и обманщик,
темнотою всё на свете обоймет.
Но взглядишь — и ты увидишь, как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек — то ближе он, то дальше,
сквозь сумятицу, и полночь, и туман.

Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик
вдоль по улице проносит барабан?

Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый
барабанщик
вдоль по улице проносит барабан!

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

— «Мой конь притомился, стоптались мои башмаки.
Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры!»

— Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной
реки,
до Синей горы, моя радость, до Синей горы.

— «А где ж та гора и река? Притомился мой конь.
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?»

— На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь.
Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.

— «А где же тот ясный огонь, почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом.»

— Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик вот
спит.
Фонарщик вот спит, моя радость, а я не при чём. —

И снова он едет один, без дороги, во тьму.
Куда же он едет, ведь ночь подступает к глазам?

— Ты что потерял, моя радость? — кричу я ему,
а он отвечает:

«Ах, если б я знал это сам...»

КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ

Если ты хочешь стать живописцем, ты рисовать
не спеши.
Разные кисти из шерсти барсучьей перед собой
разложи,
белую краску возьми, потому что это — начало,
потом
желтую краску возьми, потому что все созревает,
потом
серую краску возьми, если осень в небо плеснула
свинец,
черную краску возьми, потому что есть у начала
конец,
краски лиловой возьми пощеднее,
смейся и плачь,
а потом
синюю краску возьми, чтобы вечер птицей слетел на
ладонь,
красную краску возьми, чтобы пламя затрепетало,
потом
краски зеленой возьми, чтобы веток в красный
подбросить огонь.
Перемешай эти краски, как страсти, в сердце своем,
а потом
перемешай эти краски и сердце
с небом, с землей,
а потом...
Главное — это сгореть и, сгорая, не сокрушаться
о том.
Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!

ДЕТСКИЙ РИСУНОК

Вот площадь в сентябрьском стиле.
Вот девочка в узком окне.
Две белых ладони застыли,
как память ее о весне.

На эту осеннюю площадь
чудесную лошадь веду.
Лиловая умная лошадь
шагает за мной в поводу.

В губах — золотой подорожник,
зеленая грива густа...
Какой сумасшедший художник
позволил сойти ей с холста?

Походкой своей неземною
она потешает народ,
но счастлив я знать, что за мною
лиловая лошадь идет,

что эта зеленая грива,
как поздняя нива, густа...
Уж если она некрасива,
что значит тогда красота?

От хохота рушится площадь,
хватается всяк за живот...
Но тихая, умная лошадь
по городу гордо идет,

под узким оконцем шагает,
и видит она над собой,
как с белой ладони слетает
счастливый петух голубой.

ЖИВОПИСЦЫ

Ю. Васильеву

Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских
и в зарю,
чтобы были ваши кисти
словно листья.
Словно листья,
словно листья
к ноябрю.

Окуните ваши кисти в голубое
по традиции забытой
городской,
нарисуйте
и прилежно и с любовью,
как с любовью
мы проходим
по Тверской.

Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется,
что еще не началось!
Вы рисуйте,
вы рисуйте,
вам зачтется...

Что гадать нам:
удалось — не удалось?
Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы — чужие.
Вы рисуйте!

Я потом,
что непонятно,
объясню.

ФРЕСКИ

1. ОХОТНИК

Спасибо, тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что так ты кругла
и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как бог!
Спасибо тебе за твое уменье,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье...
Дай тебе бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть...
Он должен
 умереть
 с улыбкой.

Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам...
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму...
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу...
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не расслышу!

О, спасибо тебе, расстояние, что я
 не увидел оленьих глаз,
когда он угас!..

2. ГОНЧАР

Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его и ломать,
плоть его мять, и месить, и молоть...
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий,
поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...
Царь, а царь,
это рыбы раба твоего,
бык раба твоего...
Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего

раба твоего.

Царь, а царь,
хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою

озоровать:

бога — побоку,
бабу — под бок, на кровать?!..

Царь, а царь,
когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принести,
где желтый бык —
отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых,
пять рыб голубых...

3. РАБ

Один шажок
и другой шажок,
а солнышко село...
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда...
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар —
тебе,
а пожар —
себе...
Я рвань,
я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь, не давай никому...
Пусть тебе — прекрасно,
госпоже — прекрасно,
холуям — прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!

ПЕСЕНКА О ХУДОЖНИКЕ ПИРОСМАНИ

Николаю Грицюку

Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?
Художник Пиросмани
выходит из стены,

из рамок примитивных,
из всякой суеты
и продает картины
за порцию еды.

Худы его колени
и насторожен взгляд,
но сытые олени
с картин его глядят,

красотка Маргарита
в траве густой лежит,
а грудь ее открыта —
там родинка дрожит.

И вся земля ликует,
пирует и поет,
и он ее рисует
и Маргариту ждет.

Он жизнь любил не скупю,
как видно по всему...
Но не хватило супа
на всей земле
ему.

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

Красный петух.

Октябрь золотой.

Тополь серебряный.

Разве есть что на свете

их перьев, и листьев, и пуха целебнее?

Нужно к ранам (вот именно)

к свежим (естественно)

их приложить...

Если свежие раны, конечно,
вы успели уже заслужить.
Это пестрое, шумное, страстное
нужно с рассвета и затемно
собирать, и копить, и хранить, и ценить
обязательно,
чтобы к ранам (вот именно)
к свежим (естественно)
их приложить...
если свежие раны, конечно,
вы сумели уже заслужить.
Как трудны эти три работенки:
Надежда, Любовь и Пристрастие!
Оттого-то, наверно, и нет на земле
работенки прекраснее.
Вот и самые свежие раны
неустанно,
как вулканы,
дымятся во мне...
Потому что всегда и повсюду
только свежие раны в цене!

КАК Я СИДЕЛ В КРЕСЛЕ ЦАРЯ

Век восемнадцатый.
Актеры
играют прямо на траве.
Я — Павел Первый,
тот, который
сидит России во главе.
И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:

Я зрю сквозь целое столетье...

Я знаю, что я говорю!»

И золотую шпагу нервно
готов я выхватить, грозя...

Но нет, нельзя.

. Я ж — Павел Первый.

Мне бунт устраивать нельзя.

* * *

Куда вы подевали моего щегла?

А может быть, он сам наутек от меня?

Вот и конь мой рвется из-под седла.

Чем вы соблазнили моего коня?

Степью ли хрустящей? Песней ли ракист?

Торбой ли под мордой, чтоб вволю

зерна?

Голубой ли ящерицей апрельской реки,

что к копытам липнет так, задарма?

О река, упала ты на белый песок,

неба разметала платок голубой;

платье твое ситцевое — в ромашках все,
руки твои теплые — под головой.

И сама ты, теплая, на все щедра:

на горечь, на сладость, на любить —

не любить,

щедра, как крылья моего щегла,

как коня моего ускакавшего прить.

я захожу во мрак кавярни, где пани странная поет,
где Мак Червоный вновь цветет уже иной любви
предвестьем...

Я еду Краковским Предместьем.
Трясутся дрожки.
Ночь плывет.

ПРОЩАНИЕ С ПОЛЬШЕЙ

Агнешке Осецкой

Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбою
в прощанье и в прощенье, и в смехе и в слезах:
когда трубач над Краковом возносится с трубою —
хватаясь я за саблю с надеждою в глазах.

Потертые костюмы сидят на нас прилично,
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
когда под крик гармоник уходим мы привычно
сражаться за свободу в свои семнадцать лет.

Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,
за долгое молчанье, за поздние слова...
Нам встречи подарили пустые обещанья,
от них у нас, Агнешка, кружится голова.

Над Краковом убитый трубач трубит бесшумно,
любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы — школьники, Агнешка; и скоро — перемена,
и чья-то радиолоа наигрывает твист.

ЧУДЕСНЫЙ ВАЛЬС

Ю. Левитанскому

Музыкант в лесу под деревом
наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс
то ласково, то страстно.
Что касается меня,
то я опять гляжу на вас,
а вы глядите на него,
а он глядит в пространство.

Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут,
любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте.
Я бы к вам приник!
Но вы, наверно, тот родник,
который не спасает.

А музыкант играет вальс.
И он не видит ничего.
Он стоит, к стволу березовому прислонясь плечами.
И березовые ветки
вместо пальцев у него,
а глаза его березовые
строги и печальны.

А перед ним стоит сосна
вся в ожидании весны.
А музыкант врастает в землю...
Звуки вальса льются...
И его худые ноги
как будто корни той сосны —

они в земле переплетаются,
никак не расплетутся.

Целый век играет музыка.
Затянулся наш роман.

Он затянулся в узелок, горит он — не сгорает...
Ну давайте ж успокоимся!

Разойдемся по домам!..
Но вы глядите на него...

А музыкант играет.

СЫНУ

Он входит точно по утрам,
когда рассветный тарарам
еще не смог очнуться,
лишь стоит под рукой дверям
едва-едва качнуться.

Он входит в день мой неспроста
походкой Черного Дрозда...
Что для него приметы?..
И сразу
на свои места
становятся предметы.

И он стоит невдалеке,
храня минуту эту,
и держит красный мяч в руке,
как целую планету.

ПОЭЗИЯ В СТОЛОВКЕ ЗАВОДСКОЙ

Поэзия в столовке заводской,
где щи кипят, где зреют макароны,
где ежедневно, как прибой морской,
ты переходишь в бой из обороны.

Здесь изучили все за много лет,
испробовали все и повидали,
от праздников и до военных бед...
И сыты были и недоедали.

В столовку заводскую, в гром ее,
поэзия, носи свое искусство:
здесь нужно откровение твое
не менее, чем мясо и капуста.

Такие совершенства обнаружь,
чтобы под стук подносов и ботинок
желудков жар и жар сердец и душ
вступали ежечасно в поединок.

Покуда правды жаждет род людской,
будь начеку, не допусти промашку,
встань во весь рост в столовке заводской,
поэзия,
с душою нараспашку!

* * *

Ты падаешь навзничь, без сил,
и явью становится сущей:
стучат конвоиры осин
прикладами веток и сучьев.

Ах, это молчанье стучит,
и в этом молчаньи стучащем
паук паутинку сучит
заботливо так и с участием.
Ах, это стучит тишина,
стучит, словно дятел хохлатый,
стучит кулачками жена,
считая весь мир виноватым...
Ты падаешь наверняка,
ты этого крика боялся,
не ждал ты того паренька
в цигейковой шапке боярской.
Ты думал, что это старик,
что будет простым поединком,
а это мальчишка стоит
в дожде городских паутинок,
с улыбкой скворца и гонца
весны, что еще не звучала...
И нет поединкам конца,
а только — начала, начала...

* * *

Магическое «два». Его высоты,
его глубины... Как мне превозмочь?
Два сокола, два соболя, две сойки,
закаты и рассветы, день и ночь,
две матери, которым верю слепо,
две женщины, и, значит, два пути,
два вероятных выхода, два неба —
там, наверху, и у меня в груди.
И, залитой морями голубыми,
расколотый кружится шар земной...
...а мальчишки торгуют голубями
по-прежнему. На площади Сенной.

УЛИЦА МОЕЙ ЛЮБВИ

Закрывают старую пивную.
Новые рождаются воробьи.
Скоро-скоро переименуют
улицу

моей любви.

Имечко ей звонкое подыщут,
ласково, должно быть, нарекут,
на табличку светлую подышат,
тряпочкой суконною потрут.
Но останется

в подъездах

тихий заговор моих стихов,
как остались девушки в невестах
после долгих войн, без женихов.
А строитель ничего не знает,
то есть знает, но не признает.
Он топор свой буднично вонзает,
новый вид предметам придает.
Но по-прежнему

и неспроста ведь

мы слетаемся как воробьи —
стоит только снегу стаять —
прямо в улицу своей любви,
где асфальт придуман просто,
голубеет, как январский наст,
где воспоминанья, словно просо,
соблазняют непутевых нас.

Оле

Ты — мальчик мой, мой белый свет,
оруженосец мой примерный.
В круговороте дней и лет
какие ждут нас перемены?
Какие примут нас века?
Какие смехом нас проводят?..
Живем как будто в половодье...
Как хочется наверняка!

СТИХИ БЕЗ НАЗВАНИЯ

Оле

1

Вся земля, вся планета — сплошное «туда».
Как струна

дорога звонка и туга.

Все, куда бы ни ехали, только — туда,
и никто не сюда. Все — туда и туда.

Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь.

Но смеюсь (я признаться боюсь, что боюсь).

Сам себя осуждаю, корю.

И курю.

Вдруг какая-то женщина (сердце горит)...

— Вы куда?! — удивленно я ей говорю.

— Я сюда... — так влюбленно она говорит.

«Сумасшедшая! — думаю. — Вот ерунда...

Как же можно «сюда», когда нужно — «туда»?!»

Строгая женщина в строгих очках
мне
рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.

Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные
расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают
свои допотопные скрипки,
расправляют
помятые сюртучки,
поднимают
над головами смычки,
распрявляют
свои вдохновенные усики...
Что за дом,
если в нем
не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!..

Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощение...
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознаграждение.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю
по чину и званию,
и играют они вечный вальс

по названию:
«Может быть, наконец
повезет мне в любви...»

3

Я люблю эту женщину.
Очень люблю.
Керамический конь увезет нас постранствовать,
будет нас на ухабах трясти и подбрасывать...
Я в Тарусе ей кружев старинных куплю.

Между прочим,
Таруса стоит над Окой.
Там торгуют в базарные дни земляникою,
не клубникою,
а земляникою,
дикою...
Вы, конечно, еще не встречали такой.

Эту женщину я от тревог излечу
и себя отучу
от сомнений и слабости,
и совсем не за радости и не за сладости
я награду потом от нее получу.

Между прочим,
земля околдует меня
и ее
и окружит людьми и деревьями,
и, наверно,
уже за десятой деревнею
с этой женщиной
мы потеряем коня.

Ах, как гладок и холоден был этот конь!
Позабудь про него.
И, как зернышко — в борозду,
ты подкинь-ка, смеясь, августовского хворосту
своей белою пригоршней
в красный огонь.

Что ж касается славы, любви и наград...
Где-то ходит, наверное, конь керамический
со своею улыбочкою
иронической...

А в костре
настоящие сосны горят!

4

Вокзал прощанье нам прокличет,
и свет зеленый расцветет,
и так легко до неприличья
шламбаум руки разведет.
Не буду я кричать и клясться,
в лицо заглядывать судьбе...
Но дни и версты будут красться
вдоль окон поезда
к тебе.
И лес, и горизонт далекий,
и жизнь,
как паровозный дым,
всё — лишь к тебе,
как те дороги,
которые
когда-то в Рим.
в Рим.

* * *

Тьмою здесь все занавешено
и тишина как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожараще.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

* * *

...И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся — затмить тебя хотят.

Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря...
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж — своя!

Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганых дают.

Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.

Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить...
Я — алхимик.
Ты — моя проблема
вечная...
тебя не разрешить.

* * *

Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих.
Что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит из них.

Я листаю страницы.

Маячит

пережитое.

Я как в плену.

Вон какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вон какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы, листаю,
я влюбленно листаю листы:
пережитого громкие стаи,
как синицы, летят на кусты.

И уже не найти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои всё умеют!
Всё, что было, читаю по ним.
И когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим.

Припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...
Кто там плачет?..

Никто там не плачет.
Просто дети играют в войну.

ИЗ ПОЭМЫ

Любовь, любовь — такое государство,
где нет ни бед, ни радостей твоих,
где пламень сердца и души богатства —
всё ровно пополам, всё на двоих.

Где назревает днями и ночами
еще неведомое торжество,
где все — как рекруты, всё — как начало
и каждый начинает с ничего.

Однако замечаю я, что прячут
какие-то досады от меня.
Над Ней ломают головы и плачут
и странные дают ей имена.

Я замечаю горестные лица.
Мне самому страшна судьба моя...
О, что-то, знать, неладное творится
в стране Любовь, где проживаю я.

Люблю с оглядкой, верю осторожно,
спешу тревожно из далеких мест.
Лицо любви — оно как знак дорожный,
не разрешающий прямой проезд.

И для нее, как на года осады,
как против крепости, готовят здесь
и соглядатаев, и диверсантов,
и западни, и подкупы, и лесть.

А кто готовит?
Тот, кто был счастливым.
Им все прошло, им нету ничего...
Ах, рекруты! Вы, милые, смещливы
до первого сраженья своего.

Мол, где они там, страхи? За годами.
Ах, молодость, — гасить не погасить...
Все похохатываете,
Адамы,
все яблочка торопитесь вкусить.

Пока ж вы ходите, его срывая,
для вас лежит в наветах и пылях
не упраздненная, но не живая
античная империя любви.

* * *

Ты в чем виновата?
Ты в том виновата,
что зоркости было
в тебе маловато:

красивой слыла,
да слепюю была.

А в чем ты повинна?
А в том и повинна,
что рада была
любви половинной:

любимой слыла,
да ненужной была.

А кто в том виною?
А ты и виною:
все тенью была
у него за спиною,

все тенью была —
никуда не звала.

* * *

Глаза — неведомые острова
лугов зеленых,
тобою населенных.
Там не в чести слова
и часовые стерегут кордоны.

Там, прямо в утро
окуная головы,
воркуют голуби
задумчиво и мудро.

Там окна плещут
на рассвете ставнями...
А я прикинусь странником,
мешок — за плечи.

Мне нужно в ту страну!
И поздно или рано
я зоркую охрану
обману.

* * *

Эта женщина такая:
ничего не говорит,
очень трудно привыкает,
очень долго не горит.

Постепенно, постепенно
поднимается, кружа
по ступеням, по ступеням
до чужого этажа.

До далекого, чужого,
до заоблачных высот...
И прищурясь смотрят жены,
как любить она идет,

как идет она — не шутит,
хоть моли, хоть не моли...
И уходят в норы судьи
коммунальные мои.

ПРОЩАНИЕ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ

Зое Крахмальниковой

Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек
зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел: там поздравляли
влюбленных,
где-то он старые струны задел — слышится их
перекличка...
Вот и январь накатил-налетел, бешеный
как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя. Мы тебе верно
служили,
громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг
спешили.
Даже поверилось где-то на миг (знать, в простодушии
сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

В миг расставания, в час платежа, в день увяданья
недели
чем это стала ты нехороша? Что они все, одурели?!
И утонченные как соловьи, гордые как гренадеры,
что же надежные руки свои прячут твои ухажеры?

Нет бы собратья им — время унять, нет бы им всем
расстараться.
Но начинают колеса стучать: как тяжело
расставаться!
Но начинается вновь суета. Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья
не будет.

Ель моя, Ель — уходящий олень, зря ты, наверно,
старалась:
женщины той осторожная тень в хвое твоей
затерялась!
Ель моя, Ель, словно Спас на крови твой силуэт
отдаленный,
будто бы след удивленной любви, вспыхнувшей,
неутоленной.

* * *

Я дарю тебе к светлomu празднику множество
всяких странных вещей:
звон неожиданных звонков,
запах блюд, не стготовленных вовсе,
и мужество
ни о чем не жалеть...
и охапки цветов,
не проросших еще, ароматных и бархатных,
удивленье, надежду на добрую весть,
вид из окон (еще до сих пор не распахнутых)
на дорогу
(которая, может быть, есть).

* * *

Пробралась в нашу жизнь клевета,
как кликуша глаза закатила,
и прикрыла морщинку у рта,
и на тонких ногах заходила.

От раскрытых дверей — до стола,
от стола — до дверей, как больная,

все ходила она и плела,
помятая тебя, проклиная.

И стучала о грудь кулаком,
и от тонкого крика синела,
и кричала она о таком,
что посуда в буфете звенела.
От Воздвиженки и до Филей,
от Потылихи до Самотечной
все клялась она ложью твоей
и своей правой суматошной...

Отчего же тогда проношу
как стекло твое имя?

Спасаясь?

Словно ногтем веду по ножу —
снова губ твоих горьких касаюсь.

И смеюсь над ее правой,
хрипотою ее, слепотою,
как пропойца — над чистой водою.
Клевета.

Клеветы.

Клеветой.

* * *

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы.
Над дорогой Смоленскою, как твои глаза,
две вечерних звезды — голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге — метель в лицо, в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо,
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

* * *

Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви
по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.

О великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все — рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.

О, когда б только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви
по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

ЦИРК

Цирк не парк, куда вы входите грустить и отдыхать.
В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать.
И, под куполом, под куполом, под куполом скользя,
ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя.

Все костюмы наши праздничные — смех и суета,
все улыбки наши пряничные не стоят ни черта
перед красными султанами на конских головах,
перед лицами, таящими надежду, а не страх.

О надежда, ты крылатое такое существо!
Как прекрасно твое древнее святое волшебство:
даже если вдруг потеряна, как будто не была,
как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла
над манежем и над ярмаркою праздничных одежд,
над тревогой завсегдатаев, над ужасом невежд,
похороненная заживо, являешься опять
тем, кто жаждет не высиживать, а падать и взлетать.

ВРЕМЕНА

Нынче матери все, словно заново, всех своих
милых детей полюбили.
Раньше тоже любили, но больше их хлебом
корили, сильнее лупили.
Нынче, как сухари, и любовь, и восторг,
и тревогу, и преданность копят...
То ли это инстинкт, то ли слабость души, то ли
сам исторический опыт?
Или в воздухе нашем само по себе разливается
что-то такое,
что прибавило им суетливой любви и лишило
отныне покоя?
Или, ждатель отказавшись, теперь за собой
оставляют последнее слово
и неистово жаждут прощать, возносить
и творить чудеса за кого-то другого?
Что бы ни было там, как бы ни было там
и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку опять
высоко подскочила.
И когда худосочные их сыновья лгут, преследуют
кошек, наводняют базары,
матерям-то не каины видятся — авели,
не дедалы — икары!
И мерещится им сквозь сумбур сумасбродств
дочерей современных, сквозь гнев и капризы
то печаль Пенелопы, то рука Жанны д'Арк, то
задумчивый лик Монны Лизы.
И слезами полны их глаза, и высоко
прекрасные вскинута брови...
Так что я и представить себе не могу ничего,
кроме этой любви!

ЧЕРНЫЙ МЕССЕР

Вот уже который месяц
и уже который год
прилетает Черный мессер,
спать спокойно не дает.
Он в окно мое влетает,
он по комнате кружит,
он, как старый шмель, рыдает,
мухой пойманной жужжит.
Грустный летчик, как курортник,
его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.
Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке —
я лечу ему навстречу
в довоенном «ястребке».
Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен:
он сдается, а не я,
он пробоинами мечен,
он сгорает, подожжен...
Но приходит новый вечер,
и опять кружится он,
и опять я вылетаю,
побеждаю,
и опять
вылетаю,
побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?!

*

Вот я, убитый, падаю у бережка,
вот в небе зорька майская сторает,
трубач трубу подкидывает
бережно
и вдохновенно так
играет

Орудия остыли, рты отгикали,
до тех, что живы, полтора квартала...
Неужто лишь одной моей погибели
войне,
чтоб стихнуть,
не хватало?!
Так что ж я не погиб тогда,
вначале,
когда и пули не были слышны?
Ах, скольких мы б сейчас
перевенчали
а может, вовсе не было б войны!

*

Ю. Домбровскому

Срываю красные цветы,
они стоят на слабых ножках.
Они звенят, как сабли в ножнах,
и пропадают, как следы...
О эти красные цветы!
Я от земли их отрываю.
Они, как красные трамваи
среди полдневной суеты.
Тесны их задние площадки —

там — две пчелы, как две пилы,
жужжат, добры и беспощадны,
забившись в темные углы.
Две женщины на тонких лапках.
У них кошелки в новых латках,
но взгляды слишком старомодны,
и жесты слишком благородны,
и помыслы их так чисты!..
О эти красные цветы!
Их стебель почему-то колет.
Они как тот глоток воды,
который почему-то пролит.
Они как шапочки жокеев,
приникших к конским головам.
Они как тапочки лакеев,
подносы подносящих нам.
Они как красные быки
идут толпою к водопою,
у каждого над головою
рога сомкнулись, как венки...
Они прекрасны, как полки,
остры их красные штыки,
мундиры выстираны к бою,
у командира в кулаке —
цветок на тонком стебельке,
он машет им перед собою...
Качается цветок в руке,
как память о живом быке,
как память о самом цветке,
как памятник поре походной,
как монумент пчеле безродной,
той
благородной,
старомодной,
летать привыкшей налегке...
Срываю красные цветы.
Они еще покуда живы.

Движения мои учтивы,
решения неторопливы,
и помыслы мои
чисты.

ДОРОГА

Дорога,
слишком дорого берешь.
Не забывай про долг.
Когда вернешь?

...Молчит дорога, лишь июль печет,
да пыль седая по ногам течет,
да черный грач на стоге золотом
сидит, как царь, с полуоткрытым
ртом.

Грачиный царь — корона на башке
да пятнышко седое на брюшке.
Знать, и ему дорога дорога...
А может, и не царь он, а слуга?
Почем дорога?..
Разве хватит ног,
чтоб уплатить?
А сколько их, дорог!
Бегут дороги, да цена красна.
Пуста-пуста грачиная казна.
Бегут дороги. Пыль по ним метет,
и всяк по ним задумчиво идет:
и царь, и раб, и плотник, и поэт...
Идут-идут.
Назад возврата нет.

ХРАМУЛИ

Храму́ли — серая рыбка с белым
брюшком.
А хвост у нее, как у кильки,
а нос — пирожком.
И чудится мне, словно
брови ее взметены,
и к сердцу ее
все на свете крючки сведены.
Но если взглядеться в извилины
жесткого дна, —
счастливой подковкою там
шевелится она.
Но если всмотреться в движение
чистой струи, —
она как обрывок еще не умолкшей
струны.
И если внимательно вслушаться,
оторопев, —
у песни бегущей воды
эта рыбка — припев.
Потоньше, потоньше колите на
кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний
слова.
На блюде простом пересыпана
пряной травой,
лежит и кивает она голубой
головой.
И нужно достойно и тонко ее
оценить,
как будто бы первой любовью себя
осенить.
Представьте, она понимает
призванье свое:

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Тарасова — Булат Окуджава — современный боян . . . 7

ПРОЗА

Будь здоров, школяр (повесть)	17
Промоксис (рассказ)	97

ПОЭЗИЯ

СТИХИ И ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Военный парад	123
Телеграф моей души	123
Первый день на передовой	124
Тамань	126
«Я ухожу от пули...»	127
«Не веди старшина, чтоб была тишина...»	128
Ангелы	129
«Ах война, что ты сделала, подлая!...»	130
Ленька Королев	131
«Сто раз закат краснел, рассвет синел...»	132
О войне	133
Сентиментальный марш	134
Песенка о пехоте	135
Одна морковь с заброшенного огорода	136
«В южном прифронтовом городе...»	137
Вобла	138
Четыре года	139
Подмосковье («Подмосковье, подмосковье...»)	139
«Не верь войне, мальчишка...»	141
«В поход на чужую страну собирался король...»	141
«Возьму шинель и вещмешок и каску...»	142
Это случится	142
«Не помню зла, обид не помню, ни громких слов, ни малых дел...»	143

СТИХИ И ПЕСНИ О ЖИЗНИ И ЛЮДЯХ

Человек	147
«Мгновенно слово...»	147
«Много ли нужно человеку...»	148
«Десять тысяч дорог, и тревог, и морок пережить...»	149

«Человек стремится в простоту...»	150
Голубой человек	150
«Сыпь, вечер, звезды...»	151
Песенка об открытой двери	152
Время	153
«Мы стоим — крестами руки...»	154
«А как первая любовь — она сердце жжёт...»	154
«А ты, шарик голубой...»	155
«Девочка плачет — шарик улетел...»	155
«Неистов и упрям, гори, огонь, гори...»	156
Пешеходов родословное древо	156
«Ходьба — длинноногое чудо дорог...»	158
«В саду Нескучном тишина...»	160
Дорога («Дорога начиналась от порога...»)	160
«Когда мы уходим...»	161
«Мне нужно на кого-нибудь молиться...»	161
Свет в окне	162
«Ты течешь, как река, странное название...»	163
Март	164
Чаепитье	165
Песенка об арбатских ребятах	165
Аисты	166
Каравай	167
Картина	168
Ночь прощания с летом	169
Сказка	170
«Лес таинственный...»	171
«Все ты мечешься день-деньской...»	172
Трамвай	173
«Ах, какие удивительные ночи!..»	174
«Когда затихают оркестры Земли...»	174
«Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поешь!..»	175
Московский муравей	175
«Продолжается музыка возле меня...»	176
Пятак	176
Фотографии друзей	177
Стихи, являющиеся кратким руководством для пользо- вания пугачом	178
Дорожная фантазия	179
Первый гвоздь	180
«Ночь белая. Спят взрослые, как дети...»	180
Песенка о Фонтанке	181
«Нева Петровна, возле вас всё львы...»	181
Ленинградская элегия	182

Ленинградская музыка	184
Тбилиси	185
Житель Хевсуретии и белый корабль	186
Осень в Кахетии	187
Последний мангал	188
Январь в Одессе	189
«Над синей улицей портовой...»	190
«Не бродяги, не пропойцы...»	191
«Анкара, Анкара!...»	192
Песенка о Барабанном переулке	193
Песенка о Сокольниках	194
Песенка о белых дворниках	195
Стихи про маляров	197
Баллада о донкихотах	198
Сапожник	200
На рассвете	201
Марфа	202
«Звезды сыплются в густую траву...»	203
Кольцо	203
Искала прачка клад	204
«Я много лет пиджак ношу...»	205
Последний пират	206
«Эта женщина! Увижу и немею...»	207
«Из окон корочкой несет поджаристой...»	207
«Женщины соседки, бросьте стирку и шитье...»	208
Новое утро	208
Полночный троллейбус	209
Черный кот	210
«Сладко спится на майской заре...»	211
Песенка о дураках	211
«Всю ночь кричали петухи...»	212
Песенка о каплях Датского короля	212
«Один солдат на свете жил...»	214
Песенка о метро	215
Старый дом	215
Мастер Гриша	218

СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ, ЛЮБВИ

Франсуа Вийон	221
«Опустите, пожалуйста, синие шторы...»	222
«Земля изрыта вкривь и вкось...»	222
Родина	223

Два великих слова	224
Музыка	226
Божественное	227
Песенка о ночной Москве	228
О дроздах	229
«Что такое душа? Человечек задумчивый...»	230
«Строитель, возведи мне дом...»	231
«Есть разные красивые слова...»	231
«Пароход прощается басом...»	232
«Еще ничто не погасло...»	233
«Итак, я постарею...»	233
«...Вот я добираюсь...»	234
Замок Надежды	235
А остальное все приложится	235
Мой карандашный портрет	236
«Я никогда не витал, не витал...»	237
Прощание с осенью	238
«То падая, то снова нарастая...»	239
«Умереть — тоже надо уметь...»	240
«Надежда, белую рукою...»	242
«Рифмы, милые мои...»	243
Главная песенка	243
«Берегите нас, поэтов, берегите нас...»	244
«Поэтов травили...»	245
Встреча	246
Александр Сергеич	247
Счастливчик	248
Грибоедов в Цинандали	250
Письмо Антокольскому	251
Эта комната	252
«В детстве мне встретился как-то кузнечик...»	253
О кузнечиках	255
«Мой город засыпает. Да мне-то что с того?...»	256
Арбатский дворик	256
«Осень ранняя...»	257
Левкой	258
Март великодушный	260
Подмосковье («Март намечается...»)	262
Руиспири	266
В городском саду	371
Колокол	272
Веселый барабанчик	273
Ночной разговор	274
Как научиться рисовать	275

Детский рисунок	276
Живописцы	277
Фрески	
1. Охотник	278
2. Гончар	279
3. Раб	280
Песенка о художнике Пиросмани	280
Тиль Уленшпигель	281
Как я сидел в кресле царя	282
«Куда вы подевали моего щегла?..»	284
Путешествие в дрожках по ночной Варшаве	285
Прощание с Польшей	286
Чудесный вальс	287
Сыну	288
Поэзия в столовке заводской	290
«Ты падаешь навзничь, без сил...»	290
«Магическое 'два'. Его высоты...»	291
Улица моей любви	292
«Ты — мальчик мой, мой белый свет...»	293
Стихи без названия	293
«Тьмою здесь все занавешено...»	297
«...И когда под вечер над тобою...»	297
«Раскрываю страницы ладоней...»	298
Из поэмы	299
«Ты в чем виновата?..»	301
«Глаза — неведомые острова...»	301
«Эта женщина такая...»	302
Прощание с новогодней елкой	303
«Я дарю тебе к светлому празднику множество...»	304
«Пробралась в нашу жизнь клевета...»	304
«По Смоленской дороге леса, леса, леса...»	305
«Часовые любви на Смоленской дороге стоят...»	306
Цирк	307
Времена	308
Черный мессер	309
«Вот я, убитый, падаю у бережка...»	310
«Срываю красные цветы...»	310
Дорога («Дорога, слишком дорого берешь...»)	312
Храму́ли	313

24 августа 1967 года, в югославском городе Струга, Булату Окуджаве была вручена премия — «Золотой венец Стружских вечеров поэзии 1967 г.». Об этом ни одним словом не обмолвились ни советская печать, ни радио, ни телевидение. И только в январе 1968 года, в журнале «Юность», об этом впервые упоминает участник «Стружских вечеров поэзии» Юрий Левитанский. Там же, намекая на трудную судьбу Окуджавы, он вспоминает, как пели они, переиначив одну из его песен: «Как трудно быть Булатом, Булатом!»

Судьба Окуджаву не баловала. Отец его был расстрелян. Мать прошла сталинские лагеря. Сам Окуджава уже с 17 лет оказался на передовой. «Ах, война, что ты сделала, подлая!» Короткая «благополучная» передышка для Окуджавы — его студенческие годы в Тбилиси и учительство в Калуге.

Не легко было Окуджаве найти и свое место в бурном времени переоценки ценностей. Но постепенно в его сердце зародились мелодии, пришедшие к нему из глубин народного творчества. Эти мелодии искали выражения в словах. Так, почти не умея играть на гитаре, почти не умея петь и не зная нотной грамоты, стал Окуджава напевать свои стихи. Сперва — перед своими друзьями, затем — перед знакомыми, затем — перед знакомыми друзьями, перед знакомыми знакомых...

Пел он об очень простых вещах, близких сердцу каждого: о том, что война — это боль; о том, что женщина —

это прекрасно; о том, что бумажный солдатик никакой жертвой не спасет мир; о том, что Ленки Королевы, хотя и погибают на войне, но воскресают вновь в каждом арбатском мальчишке; о том наконец, что не всё благополучно в нашем доме. И за Окуджавой запела его песни вся страна, потому что оказалось, что об одном с народом болит душа Окуджавы.

Что может быть ценней для поэта, чем признание его своим народом? И хотя на Окуджаву обрушилась вся мощь государственной пропагандной машины, клеймя и навешивая на него убийственные ярлыки, Окуджава не изменил своему народу, и народ сохранил ему свою верность.

Лавина поношения прошла, сменившись глухим беспросветным молчанием. Молчала пресса, молчало радио, молчали издатели, молчали устройства выступлений Окуджавы. Окуджава официально перестал существовать для страны и иностранного мира. А песни его продолжали звучать, залетая в самые отдаленные уголки нашей страны и даже вырываясь за границы. «Кнут» не достиг своих результатов.

А сегодня власть пытается «купить» Окуджаву «пряником»: издан сборник его стихов, разрешены заграничные поездки... «Поклонись нам, и все блага земные будут твоими». Но ценности-то, которые дороги Окуджаве, — не земные. Вот почему, как ни велик соблазн, он не опасен для него. Окуджаве не суждена утопанная легкая дорога, и страна, которой он служит, может с правом гордиться им.

